КИРИЛЛ КОБРИН

ПОСТСОВЕТСКИЙ МАВЗОЛЕЙ ПРОШЛОГО

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В своей новой книге Кирилл Кобрин анализирует сознание российского общества и российской власти через четверть века после распада СССР. Главным героем эссе, собранных под этой обложкой, является «история». Во-первых, собственно история России последних 25 лет. Во-вторых, история как чуть ли не главная тема общественной дискуссии в России, причина болезненной одержимости прошлым, прежде всего советским. В-третьих, в книге рассказываются многочисленные «истории» из жизни страны, случаи, привлекшие внимание общества. В итоге автор приходит к выводу о конце «постсоветского этапа» в истории России. Вошедшие в книгу тексты публиковались в рамках онлайн-проекта Кобрина «История времен Путина», а также в сетевых изданиях. Кирилл Кобрин (р. 1964) – историк, литератор, редактор журнала «Неприкосновенный запас», автор 20 книг и многочисленных публикаций в российской и европейской прессе.

- Кирилл Кобрин
  - Краткое предисловие
  - Увертюра: остров Робинзона
    - 1. No Future?
    - 2. Португальские книги Робинзона Крузо
  - Глава I
    - Кошмар неистории
    - Сенцов и чужие
    - Интеллигенция, Революция – и Мединский
    - Праздник народного единства
  - Глава II
    - Лишние люди
    - Безумцы и власть: 1836-й и 2016-й
    - Новые любители исторической правды
    - Tabula rasa почета
    - Приличная история: модель для сборки
    - Сталин против Швондера
  - Глава III
    - Последний шанс истории
    - Кровь севастопольских вестей
    - Забытые авторы русской свободы
    - Два неточных юбилея
    - Бедный Ленин
    - Код: 1 9 1 6

    - Глава IV
        - Ушастые яйца
        - Веселая рабочая Пасха
        - Парадизный, пальмирный, эрмитажный концерт
        - Памяти потешной модернизации
        - Смысла нет, но все держатся
    - Глава V
        - Тихие дни на Первой горе
        - Беженцы от реальности
        - Старые снимки современности
        - Печальная рутина полуправды
        - Царь настоящий
        - Без ауры
        - Две партии
        - Конец
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28

Кирилл Кобрин
Постсоветский мавзолей прошлого. Истории времен Путина

Я говорил сотню раз и повторю снова: старое общество умирает. Я не настолько добродушен, не настолько плутоват и не настолько обманут в своих надеждах, чтобы принять хоть малейшее участие в том, что творится ныне.

Франсуа Рене де Шатобриан. «Замогильные записки»

Руссо употребляет где-то выражение mal-être, в противоположность bien-être. И у нас можно бы допустить слово злосостояние по примеру благосостояние. Какой-то шутник в Москве переводил французское выражение bien-etre general en Russie (всеобщее благосостояние России) следующим образом: хорошо быть генералом в России.

Петр Андреевич Вяземский

Краткое предисловие

«Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы тем не менее проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму. Итак, давайте посмотрим, можно ли доказать, что то, что мы зовем злом, не является само по себе таковым, или, по крайней мере, чем бы оно ни являлось, – что от нас самих зависит придать ему другой привкус и другой облик, ибо все, в конце концов, сводится к этому». Мишель Монтень в одном из самых двусмысленных своих «опытов» говорит вроде бы очевидную вещь: наше восприятие добра и зла зависит в значительной мере от представления, которое мы имеем о них. Иными словами, лучше не считать разнообразные бедствия (и само зло) чем-то постыдным и не расстраиваться особенно по этому поводу; стоит отнестись к неприятностям, даже тяжким и серьезным, по-иному, превратить, так сказать, нужду в добродетель. Ведь неприятности (бедствия и даже само зло) – лишь сырой материал, предоставленный нам судьбой; от нас требуется уложить сырое тесто в формочки и выпечь что-то съедобное и даже вкусное.

Тексты, собранные в «Постсоветский мавзолей прошлого», сочинявшиеся по разным поводам, представляют собой именно такие формочки, куда автор осторожно укладывал сырое тесто российских (и не только российских) событий последних нескольких лет. Нет-нет, речь не о том, что все происходившее (или даже все попавшее в поле внимания автора) есть несомненное зло, нищета, позор и болезни. Собственно, за некоторым, но важным исключением (насильное замужество чеченской девочки Хеды Гойлабиевой, дело Сенцова и кое-что еще), описанные здесь события этически нейтральны, ибо нет сегодня такой моральной инстанции, с кафедры которой можно было бы заклеймить их. Да, персонально автору происходящее в России (да и в значительной части западного мира) не нравится – но это его частное мнение. Другое дело, конечно, когда речь идет об убийствах, пытках, изнасилованиях и несправедливых приговорах, но, слава богу, последние несколько лет не только из них состояли. А считать глупости, изреченные какими-то людьми, или даже их действия, не представляющие прямой физической опасности окружающим, злом, тем более Злом с большой буквы –

не слишком ли драматично? Не отвлечет ли подобное отношение нас от анализа, от рационального рассуждения по поводу устройства сознания тех самых людей, которые эти слова говорят, эти поступки совершают, – а также тех, кто этим словам внимает и имеет в виду эти поступки? Иными словами, нас здесь интересует устройство нынешнего общественного сознания, преимущественно российского, – таковы формочки, в которых выпекалось тесто нижеследующих эссе.

Эти тексты действительно писались по разным поводам и для разных изданий. Но перед читателем не «журналистика» в том смысле, в котором это слово употребляют сегодня, и даже не «публицистика». Дело в том, что и первая, и вторая (являясь жанром первой) предполагают воздействие на аудиторию – прежде всего, прямое эмоциональное. Эмоции возникают как результат быстрого и недвусмысленного морального суждения; журналист – даже если он сочиняет короткую новость – всегда знает, что хорошо, что плохо, и пытается убедить в этом публику. Тем более публицист; уж он-то точно является героем вышеприведенного монтеневского пассажа; публицист уже заранее имеет в голове образ «блага» и образ «зла» – иначе он не будет убедительным. А задача публицистики – именно убеждать.

Особенностью последних лет российской жизни как раз и было то, что чем больше публику пытались убедить, тем равнодушнее к самой идее различения добра и зла она становилась. «Факты» как медийный (и отчасти даже гуманитарно-академический) жанр исчезли почти полностью, их место заняли «мнения», что было бы даже и не столь скверно, не превратись «эмоциональное отношение» в синоним слова «мнение». Ведь на самом деле мнение есть то, что рационально истолковывается, опираясь на интеллектуальную процедуру, предполагающую – в качестве собственной опоры – факты. Если факты не нравятся – и сама их необходимость отрицается, – то никаких настоящих мнений быть не может, так, вопли Видоплясова, хитроумная истерика, корыстный косноязычный бред. Таков сырой материал, которым – если верить Монтеню – судьба снабжает любого, в частности автора этой книги, пытавшегося рационально понять происходившее в немалой части мира. Это как в шумной истории с 28 панфиловцами. Факты уверяют, что «панфиловцев» не было. Министр Мединский называет тех, кто указывает на эти факты, «мразями». Пресс-секретарь президента Путина Песков снисходительно комментирует, мол, русский язык богат и всем этим богатством чиновник, отвечающий за великую русскую культуру, блестяще владеет. Сама по себе история ничтожная, однако кое-что там

интересно: прежде всего то, как устроено сознание ее героев, и то, отчего именно все эти люди (Мединский, Песков и проч.) занимают должности, которые они занимают. И конечно, важно понять, насколько сознание руководителей соответствует сознанию тех, кем они руководят. Наконец, последнее: отчего подобная комбинация руководителей и руководимых вообще сложилась? И здесь мы переходим в область истории.

Собственно, «история» и есть главная тема, главная формочка текстов, составивших эту книгу. История здесь выступает сразу в трех ролях. Первая роль – история страны и общества, о которых идет речь. Здесь главными действующими лицами стали – отчасти даже неожиданно для автора этой книги, ведь он ее сложил из отдельных текстов, довольно разношерстных, – Николай Первый, Карл Маркс, Александр Третий, Константин Победоносцев, Ленин, Сталин и, конечно, несколько современных деятелей. Вторая роль истории в нашей книге – это объект, существующий в общественном сознании и в сознании власти, «история» как сюжет, в ее отношении с бесформенным «прошлым». В частности, автора занимает такая современная российская черта, как массовая одержимость историей, при деградации настоящего академического исторического знания. Оттого отдельная глава посвящена профессии историка – и перипетиям, которые с ней происходят в России в последние почти сто лет. Наконец, третья роль «истории» в этой книге – это «истории» во множественном числе. В английском языке есть два слова, которые переводятся на русский словом «история», – history (собственно, «история», события прошлого, имеющие определенную хронологию, закономерность и даже смысл, события, записанные в «историю» как «книгу», как «повествование») и story (бытовая история, случай, нечто приключившееся с кем-то). Так вот, в подзаголовке названия книги стоит «Истории времен Путина», что значит именно «истории» во множественном числе, случаи из времени правления нынешнего президента страны. Ни в коем случае «Постсоветский мавзолей прошлого» не претендует на попытку написать историю путинского периода (2000–2016). Это именно отдельные «истории», анализ и интерпретация которых позволяет нам сделать кое-какие – надеюсь, важные – общественно-политические и социокультурные выводы. Одна из глав называется «Пробы цайтгайста». Именно так можно определить жанр книги.

Соответственно, выводов автор почти не делает – кроме двух. Первый выдается в качестве гипотезы в «Увертюре» – российское общество переживает (или даже уже пережило) катастрофу. Второй вывод – собственно, вывод – содержится в последнем эссе.

Он таков: постсоветский период в истории России завершен, проект закрыт, но никто еще не сказал «Все свободны!» Можно – и даже нужно – сколько угодно не соглашаться с этими диагнозами, но автор уверяет читателей, что поставлены они безо всякой тени эмоционального возбуждения, холодно и отстраненно. Как писал Монтень в конце цитированного эссе, «всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам. Кому недостает мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать, ни сражаться, чем поможешь такому?» Задолго до Монтеня Будда сказал: «Никто никому не может помочь». Оттого в этой книге отсутствует даже поползновение пасти народы. Что не отменяет обязанности попытаться понять, как же они пасутся – и кто и как их пасет.

Кстати, о стадах. Слово «мавзолей» в названии – не потому, что речь идет о стране, на главной площади которой стоит подобное сооружение. Тут другая история. Как известно, «мавзолей» происходит от имени карийского царя Мавзола (или Мавсола, IV век до н. э.), сестра которого Артемисия соорудила для него роскошную усыпальницу в Галикарнасе, причисленную к чудесам света. В этом автор книги видит некую аллегорию постсоветского периода истории России как такового: кажется, что главным занятием последних российских 25 лет было возведение бессмысленно-монументальной усыпальницы «советского». Проспер Мериме писал: «Мавсол умел выжимать соки из подвластных ему народов, и ни один пастырь народа, выражаясь языком Гомера, не умел глаже стричь свое стадо. В своих владениях он извлекал доходы из всего: даже на погребение он установил особый налог… Он ввел налог на волосы».

Наконец, благодарности. Уже много лет автор не мыслит собственной жизни без чтения и перечитывания текстов Александра Герцена, Лидии Гинзбург и Джорджа Оруэлла (эссеистики). Это обстоятельство наложило несомненный отпечаток на способ рассуждения в данной книге – и даже на стиль. Если в ней и есть что-то стоящее, то благодаря этим писателям. Важную роль сыграло и неоднократное возвращение к эссеистике Исайи Берлина и дневникам Александра Блока. Естественно, все грехи этой книги – на совести автора и никого больше.

Большинство вошедших сюда текстов было опубликовано на сайте «Настоящего времени» (http://www.currenttime.tv) в рамках авторского проекта «История времен Путина». Остальные эссе – на Colta.ru, в Open Democracy и в журнале «Неприкосновенный запас». Большое спасибо Кенану Алиеву, Александру Касаткину, Ольге Серебряной, Гленну Кейтсу, Михаилу Ратгаузу, Глебу

Мореву, Михаилу Калужскому, Тому Роули за эту возможность.

Увертюра: остров Робинзона

1. No Future?

Don't be told what you want,
Don't be told what you need,
There's no future, no future,
No future for you.

Sex Pistols

В этом тексте речь пойдет о банальностях, которые многие и так знают. Я попробую расставить банальности согласно их внутренней логике и посмотреть, что получится.

Происходящее сейчас с Россией, особенно в сфере общественного сознания, совершенно справедливо называют катастрофой. Посмотрим, из чего она состоит. Главная черта этой катастрофы – потеря обществом представления о реальности собственного существования, экономического, социального, культурного и политического; далеко зашедший процесс стал причиной моральной деградации социума. Последнее, в свою очередь, делает невозможным любую общественную дискуссию, что порождает дальнейшую деградацию. Российское общество не смогло выработать язык такой дискуссии, оно не в состоянии обсуждать даже простые и насущные проблемы – прежде всего потому, что не хочет признать самого существования этих проблем. Так больной с последней стадией рака порой уверен, что в ближайшее время все его хвори отступят и он, бодро вскочив с одра, побежит по обычным делам.

В общественном сознании сложилась своего рода шизофрения: повседневные трудности и беды, с которыми сталкивается россиянин, воспринимаются как существующие исключительно в его частной жизни, никакого отношения к общей ситуации в стране, прежде всего к политике, не имеющие. Политическая система, власть, административное устройство, публичная сфера – все это существует как бы отдельно от плохой медицины, скверных школ, коррупции и обнищания. Во второй из этих сфер – которую россиянин и считает настоящей – он склонен прагматично решать свои проблемы «явочным порядком», а к первой он равнодушен, не воспринимает ее как что-то важное. Более того, в рамках публичной сферы он предпочитает высказываться и действовать безответственно, так как, по его мнению, происходящее здесь никак не связано с его реальной жизнью. «Реальное» существует только в повседневности,

никаким общим правилам не следующей.

Все это – результат крайней атомизации общества, которая имеет как исторические, «долгоиграющие» причины, так и относительно недавние. К первым можно отнести последствия нескольких страшных потрясений, случившихся с российским обществом с начала XX века, а также «негативную селекцию» – основу социальной политики сталинского времени (и отчасти последующих времен). Не будем забывать очевидную вещь: нынешнее население России составляют потомки людей, случайно уцелевших в поражающей воображение мясорубке. Это многое объясняет. Устойчивые горизонтальные социальные связи, сама идея социальной, классовой, гендерной, поколенческой солидарности – все это невозможно в атомизированном обществе; в нем подобные связи имеют шанс возникнуть лишь на непродолжительное время, чтобы тут же исчезнуть безо всякого следа.

Еще одно обстоятельство, недавно как бы «современное», но постепенно уходящее в разряд «исторических». Роковую роль сыграли неолиберальный курс и сопровождавшая его риторика девяностых по поводу «невидимой руки рынка», каковая рука якобы все расставляет по нужным местам и разрешает все трудности. «Невидимая рука рынка» может иногда (далеко не всегда) сработать в таком обществе, которое традиционно привыкло осознавать свои интересы, готово их защищать и реализовывать, в обществе, где есть группы, объединенные представлениями об идентичности и внутренней солидарности, – но только не в тотально атомизированном социуме. В последнем неолиберальные представления приводят к триумфу самого циничного эгоизма. Без этого эгоизма нынешний режим в России был бы невозможен.

К относительно недавним причинам следует отнести осознанную политику власти последних полутора десятилетий, которая сделала все, чтобы в России не возникли горизонтальные социальные связи, поставив тем самым под сомнение знаменитую административную «вертикаль». Страх, принуждение и поощрение самого примитивного цинизма в ущерб общественному интересу – все это имело свои плоды. Усердие, с которым власть уничтожает любые общественные инициативы и организации, исходит именно из этого; в результате, как уже было сказано, в российском обществе почти отсутствуют институционализированные проявления сколь-нибудь значительной солидарности – профессиональной, социальной, любой иной (кроме тех ее разновидностей, что пестуются властью, вроде полукриминальной солидарности полицейских,

сотрудников секретных служб и т. д.).

В результате российское общество имеет слабое представление о реальности иного порядка, нежели персональные повседневные заботы, – о реальности существования себя как целого, о реальности собственных общественно-политических интересов, о реальности сложного устройства жизни за пределами страны. Равнодушие (и даже презрение) к общественной сфере используется властью, которая легко манипулирует атомизированным социумом, подменяя мучительную (из-за отсутствия понятного всем языка) общественную дискуссию контролируемыми всплесками массовой истерики по надуманным, искусственным поводам. Подобная истерика дается обществу легко, ибо она касается вещей, прямо «обычного человека» не касающихся, вещей в практическом смысле неактуальных – вроде козней Америки, мумии Ленина или так называемых «традиционных ценностей». Последние ведь тоже воспринимаются как нечто орнаментальное и не требующее никакой реальной ответственности. Так сформировалась странная идентичность нового русского патриота, своего рода калейдоскоп, в котором яркие картинки случайно составляются из случайных вещей, предложенных властью. Именно поэтому официальная пропаганда столь успешна в России – она в каком-то смысле дает возможность члену общества «играть» с определением себя как «патриота», не требуя за это никакой ответственности. Все абсолютно не обязательно, царство легкомысленного произвола.

Исключительно важную роль в этом процессе играет прошлое, ставшее богатым ресурсом для такой политики. Прошлое используется для оправдания глупостей или преступлений, совершаемых властью – а также обществом по указанию или намеку власти. Создается иллюзия, что «история» может оправдать любое действие, ибо никакой моральной ответственности из манипуляций с прошлым не вытекает. Прошлое для нынешнего режима – ресурс вроде нефти или газа, который следует использовать самым выгодным для себя образом. С другой стороны, у жителей России нет осмысленного, развернутого представления о собственном прошлом (личном, персональном, семейном), вместо него – набор истерических реакций по задаваемым властью поводам; сама же «история» рассматривается только как «общая», «государственная», «наша», но не «моя». Одним из последствий этого стало разрушение самого сильного из типов социальной солидарности – персональной солидарности с собственными родителями, семьей и т. д. Смерть члена семьи в советском лагере никак не

соотносится в сознании нынешнего россиянина с его нынешними дифирамбами людям и институциям, которые это убийство организовали и осуществили. Моральный упадок и разрушение дошли до такой степени, что родители военных, незаконно посланных воевать в Донбасс и погибших там, относятся к происшедшему как к несчастному случаю, не больше. В хаосе случайного солидарности не бывает.

Результат известен: исчезновение в России политики как таковой – и интереса к ней. И не только потому, что власть уничтожила оппозицию: общество просто не видит никакого смысла в функционировании само́й сферы публичной политики. Эта сфера никак не связана с его жизнью, оттого ее лучше передоверить несменяемой власти, сколь бы жестокой, неэффективной и коррумпированной она ни была. Попытки оппозиции, особенно неофициозной прессы, как-то противодействовать этому обречены по простой причине: несогласные вынуждены обсуждать – пусть и с критической точки зрения, в данном случае это неважно – ту же самую повестку, которую предлагает власть. Если Кремль говорит «да», оппозиция автоматически говорит «нет» – и наоборот. Публичная политика и общественная дискуссия свелись к самой примитивной перебранке, не имеющей ровно никакого рационального обоснования. Исчезновение представления о реальности, господство иррационального и «задушевного» (обозначим так область психического, эмоционального, в которой совершенно растворилось рацио) – вот что в сегодняшней России представляет собой эта сфера. Достаточно вспомнить прискорбную шумиху вокруг «исчезновения» президента Путина на несколько дней в конце зимы 2015-го – никому, кроме власти, подобные трюки не выгодны, ибо демонстрируют убожество «общественной дискуссии» в сегодняшней России.

Катастрофа автоматически исключает возможность перемен, так как не предполагает выхода за свои пределы. Перед нами царство тавтологии. В каком-то смысле сторонникам власти и оппозиции удобно следовать нынешнему порядку вещей: все заранее определено, и нет никакой нужды иметь в виду Другого, кого-то или что-то, находящееся вне влияния собственной точки зрения. Несмотря на ожесточенные споры, подлинная дискуссия не ведется; стороны не пытаются убедить друг друга, они в который раз убеждают себя в собственной правоте – и только. Ни одно оппозиционное издание не пытается расширить аудиторию и привлечь на свою сторону оппонентов; что касается последних, то они тем более довольны своим положением.

Распавшееся на атомы общество не может и не хочет понять

само себя, что – еще и еще раз – устраивает власть: ведь таким образом она только укрепляет свои позиции. Никакие экономические трудности, никакие социальные проблемы положению нынешнего режима не угрожают, так как различные социальные группы и отдельные люди не воспринимают эти проблемы в качестве «политических». Возникающие неприятности разрешают одноразово, но никто не пытается взяться за них системно: ведь для этого нужно осознание того, что где-то (а чаще всего рядом) существуют такие же люди, оказавшиеся в подобной же ситуации. В реальной жизни групповой интерес оформляется в политическом языке, понятном для всей этой группы, – и тогда выносится в сферу политического. Только в таком случае возникает реальная повестка дня для общества – и возможность ее воплощать в виде системы политических партий и институтов.

Базовым для реальной идентичности общества, его сложноустроенной солидарности является представление о будущем, образ будущего. Отметим, что будущее – как для страны, так и для отдельных граждан – сегодня в России не обсуждает никто, по крайней мере конструктивно. Катастрофических сценариев высказывается немало, однако сам этот жанр исключает возможность положительного ответа на смертельную общую опасность. От катастрофы либо бегут, либо смиренно ждут ее. В любом случае в России больших планов на будущее не строит никто; особенно такого разговора избегает власть. Почему?

Любой серьезный образ будущего, предлагаемый обществу, основывается на настоящем и способе его восприятия (конечно, речь здесь не идет об утопических проектах вроде коммунистического). Если реальность настоящего не воспринимается россиянином на ином, кроме бытового, уровне, то такой образ строить просто не из чего. «Будущее», к которому стоит стремиться или хотя бы на него ориентироваться, не может состоять из дробных сегодняшних дел; будущее – сложный проект, детали которого отбираются из работающих экономических, социальных и политических механизмов, институций, признанных многими, отбираются из того, что как таковое не отвергают члены общества, указывая лишь на необходимость доработки и улучшения. По поводу таких деталей будущего уже сегодня должен существовать своего рода социальный консенсус. Подобных институций в современной России нет. Государственный аппарат, судебная система, школы и университеты, здравоохранение, академическая наука, армия, пресса – практически все дискредитировано. В такой ситуации

говорить о будущем, где будут школы или больницы, полиция или суды, пусть даже идеальные, неловко. Оттого власть и не говорит. Что касается оппозиции, то ей тут просто нечего сказать. Во-первых, она играет по правилам, установленным властью; в основном это касается тем дискуссий. Во-вторых, оппозиция, за небольшим исключением, базируется в столице и плохо представляет себе устройство жизни за ее пределами (да и внутри, честно сказать, тоже не очень). В-третьих, именно оппозиция предпочитает говорить о «катастрофических сценариях» будущего, сужая тем самым свое поле для маневра, и без того весьма ограниченное. Оппозиционная риторика сфокусирована в основном на нескольких персонах; при этом умалчивается о том, что же должно произойти, если по каким-то причинам эти персоны вдруг исчезнут. Все, что предлагают столичные противники власти, – заменить плохих руководителей хорошими; при этом – несмотря на претензии быть «демократами» – оппозиционеры на самом деле надеются, что их требования «свободных и честных выборов» не станут реализованы немедленно. Они догадываются, сколь ужасными для них и для страны будут сегодня результаты таких выборов. С этим невозможно не согласиться.

Дезориентированное, атомизированное, деградирующее общество, цинично-изощренная, но стратегически близорукая опрометчивая власть, сознательно разрушающая собственную страну, и ее тень, немногочисленная оппозиция, не желающая понять, чему именно она оппонирует – и, самое главное, для чего. Потерявшие доверие полумертвые институты, распадающаяся государственная система, оплетенная сетью неформальных связей и неформальных интересов скрытых от взора групп. Внешнеполитическая изоляция. Таков результат 25-летней постсоветской истории России, начавшейся с призывов к «нормальной жизни». Похоже на катастрофический сценарий, который мог быть придуман четверть века назад. В этом смысле катастрофа действительно произошла. Вопрос в том, что в этой ситуации делать – и стоит ли вообще что-то предпринимать.

2. Португальские книги Робинзона Крузо

Перечисляя вещи, перевезенные мною с корабля, как уже было сказано, в одиннадцать приемов, я не упомянул о многих мелочах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне тем не менее большую службу. Так, например, в каютах капитана и его помощника я нашел чернила, перья и бумагу, три или четыре компаса, некоторые астрономические приборы, подзорные трубы, географические карты и корабельный журнал. Все это я сложил в один из сундуков на всякий случай, не зная даже, понадобится ли мне что-нибудь из этих вещей. Затем мне попалось несколько книг на португальском языке. Я подобрал и их.

Даниэль Дефо. «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове, у берегов Америки, близ устья великой реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами. Написано им самим»

Единственное будущее российского общества, которое имеет смысл обсуждать сегодня, – если вообще это кому-то интересно –

посткатастрофическое будущее, точнее, его образ, неясные очертания. Можно даже попробовать представить себе базовые элементы такого будущего – на самом примитивном уровне, конечно. Скажем, договоримся, что через какое-то время (десять, двадцать или тридцать лет, в данном случае это неважно) население России будет снискивать себе пропитание, растить и обучать детей, избегать страдания, болезней и смерти, не чураться развлечений. Кажется, все. Но где взять механизмы, которые позволят это делать на уровне всего общества, если они дискредитированы? Ведь атомизация общества в какой-то момент (и он уже наступает) не даст возможности отдельному атому исполнять даже столь нехитрые функции, как продолжение рода и поддержание жизни. Так что хочется или не хочется, но придется-таки обратиться к потерявшим доверие социальным и административным механизмам. Но прежде – небольшое замечание.

Образ будущего, пусть даже расплывчатый и не обязательный, не может быть предложен российскому обществу «сверху», «сбоку», вообще со стороны. Его привлекательность, если вообще можно об этом говорить, есть результат его самодостаточности. Образ будущего представляет собой комбинацию разных отношений разных социальных групп (прежде всего способных сформулировать свои надежды) к уже существующей ситуации – кто бы ее ни интерпретировал, власть или оппозиция. Для посткатастрофического российского общества единственный вариант таков (весьма туманный, но все же): этот образ должен складываться в ходе совместной работы социума и тех, кто может профессионально оценить его состояние, содействовать разработке языка общественной дискуссии, помочь сформулировать интересы различных групп. Иными словами, условием появления действительно притягательного образа будущего является создание рамок и способов его обсуждения. А теперь вернемся к механизмам сегодняшней российской жизни.

Эти механизмы надо не только определить по типу «хорошие» или «нехорошие», «непорочные» или «дискредитировавшие себя» (или даже «дискредитированные»); следует узнать, что они на самом деле собой представляют сегодня. Вот действительно нужная и достойная работа: тщательно описать и изучить механизмы функционирования российской жизни на низшем и среднем уровнях – как на самом деле устроена система местной власти, как работают школы, больницы, учреждения культуры, кто там трудится, на какие доходы в действительности существуют учителя, врачи и библиотекари, какова реальная

экономика мелкого и среднего бизнеса, нарисовать социальный портрет тех, кто идет контрактником в армию, выяснить, на чем строится материальное благополучие работников силовых структур и бюрократии, и проч. Безусловно, этим уже давно занимается немало социологов, экономистов и представителей других профессий – разве что «политологов» я бы исключил, их подобные вещи вообще не интересуют. Все верно, но такого рода работа, такого рода знание имеет сейчас в России чисто академический характер и не претендует на выход из довольно узких рамок академического описания отдельных феноменов, не становится общественно значимым (да и просто общественно известным) фактором. Работа, которая может способствовать пониманию обществом самого себя, – вообще не академический проект, скорее последовательная серия обсуждений с участием представителей разных социальных групп и – конечно же – социологов, экономистов, журналистов и проч. Обсуждения эти могут постепенно расширять социальный охват, фокусироваться на все большем количестве разных тем, в идеале – превратиться в постоянный процесс, все время присутствующий в медийной – и даже повседневной – жизни. В результате возникает возможность нащупать реальную жизнь российского общества, что включает шанс для самих членов этого общества понять себя, так сказать, приблизиться к собственной реальности. Кроме того, в ходе подобных дискуссий вырабатывается соответствующий язык, который в конце концов будет способствовать осознанию разными социальными группами своего интереса как политического. С этого начинается *grassroots movements and politics*.

Следующий пункт можно было бы назвать «работой с прошлым». Многим очевидно уже сейчас: пока не поздно, следует остановить постыдное использование истории России в качестве ресурса и инструмента идеологической манипуляции. Этот прискорбный процесс стал возможен прежде всего благодаря глубокому историческому невежеству, причем в данном сюжете и власть, и общество в России находятся примерно на одном уровне. Так что речь идет о разновидности просвещения, но только отчасти. Важнейшая задача: вывести из тени, переформулировать и предложить обществу «Историю российской свободы и справедливости» вместо «Истории государства Российского». Опять-таки перед нами не чисто академический вопрос, хотя задача эта тесно связана с высоким гуманитарным знанием. Чтобы начать действовать в этом направлении, нужно трезво представлять себе нынешнее положение дел. В учебниках, в госпропаганде, в головах подавляющего большинства населения страны царит государственническая, мифологическая концепция

прошлого страны, по сути – история смены правителей и трансформации государственных институций (специалисты называют это «историей Иловайского», по автору дореволюционного учебника). В советские годы – после того как Сталин вернул преподавание истории в учебные заведения – такая разновидность истории господствовала, будучи лишь слегка изменена и дополнена «классовой борьбой» и цитатами из классиков марксизма-ленинизма. В постсоветское время подобный подход окончательно восторжествовал, причем в самом архаичном виде; более того, именно такие представления оказались наиболее популярны в обществе, ибо они лучше всего отвечают прагматическим целям и задачам власти, составляя базу для столь мощного инструмента официозной пропаганды, как медийная поп-история. Таким прошлым легче всего манипулировать, вытаскивая из него на всеобщее обозрение ту или иную известную историческую фигуру, одновременно развлекая и индоктринируя публику. В этой истории нет места для истории социальной, для истории разных народов, населяющих Россию, отодвинута на второй план региональная история, наконец, отсутствует совершенно иная российская традиция – та самая традиция справедливости и свободы. Эта традиция осторожно использовалась (и даже пропагандировалась) в советское время, однако была дискредитирована как способом ее преподавания и изучения, так и ее местом в советской идеологии. Радищев, Чаадаев, ранние славянофилы и западники, Герцен, Чернышевский, народники, либералы и социал-демократы начала XX века – большинство из них в советской исторической концепции выполняло роль близоруких предтеч большевизма, как бы лишаясь собственного места и уникальной ценности; в результате вместе с крахом советской идеологии эта линия – мощная, живая, сложно устроенная и потенциально плодотворная, ибо объединяла идею «свободы» с идеей «справедливости» (прежде всего социальной), – ушла в тень. Замечательный пример – скромно отмеченное в 2010 году столетие смерти Льва Толстого. Толстой оказался опасен и власти (противник официального православия, анархист, беспощадный критик милитаризма, классового общества и т. д.), и либеральной оппозиции, для которой он слишком радикален и пугающе враждебен к «культуре».

Почти все созидательное, действительно полезное, осмысленное из того, что произошло с русским обществом и русским общественным сознанием в последние два века, связано с представителями «истории свободы и справедливости», с их идеями и их деятельностью. Точно так же в тени осталась

социально-демократическая линия советского диссидентства – в отличие от религиозной и националистической. Образ будущего российского общества невозможен без «истории российской свободы и справедливости» – никто больше представителей этой традиции не способствовал тому, чтобы Россия лучше узнала сама себя и свое действительное, а не воображаемое место в мире. «История свободы и справедливости» ждет того, чтобы ее переоткрыли, предъявили без помпы или сентиментального придыхания, представили в качестве живой, актуальной, а не покрытой академической патиной.

Наконец, последнее. Чем же может функционально стать образ будущего, о котором идет речь? Прежде всего точкой сборки самых разных идей и представлений о трансформации общества и государства. В таком случае важность этих идей и представлений оценивается не с позиции их сегодняшней практической применимости, а исходя из соответствия, даже устремленности к угадываемому образу будущего – не утопическому или катастрофическому (не забудем, катастрофа уже произошла), а тому, что исходит из здравого смысла.

Сегодня здравый смысл применительно к российскому обществу можно было бы определить как комбинацию самых разнообразных движений в следующих направлениях: обрести представление о себе самом, «вернуться в реальность» собственного прошлого и настоящего (постепенно вернуться, ибо атомизированное общество не вынесет мгновенно поставленного перед ним зеркала), в процессе обсуждения выработать свой собственный язык, свою собственную повестку дня, не зависящую от фронтов нынешней «холодной гражданской войны». В результате может возникнуть хотя бы намек на общественное согласие по поводу того, к чему действительно следует стремиться, на молчаливое принятие некоторого набора целей. До поры до времени эти цели находятся вне сферы политического. Пути достижения таких целей у разных социальных, этнических, гендерных, конфессиональных групп разные; каждая из них формулирует свои интересы и способы их достижения – оказавшись тем самым уже в политической сфере. Вот с этого момента консолидации разных социальных групп на базе взаимного признания интересов других (и на основе разделяемого многими языка общественной дискуссии) в стране может начаться настоящая политика. Эмоциональная, реагирующая, бульварная, истерическая повестка дня, навязанная сегодня властью обществу, имеет шанс смениться реальной. Шанс, впрочем, небольшой.

Раздраженный читатель спросит: мол, хорошо, но кто все это

будет делать, кому это нужно? Ответ простой – любой, кто, подобно Робинзону Крузо после кораблекрушения, захочет выжить и устроить себе и окружающим новую, человеческую, просто хотя бы какуюнибудь посткатастрофическую жизнь. Крушение обнуляет почти все, что было до него, включая привычки людей. Лучшим другом Крузо оказался каннибал, сменивший в силу новых обстоятельств диету.

Глава I
Состояние умов

Кошмар неистории

Я неоднократно пыталась связаться с руководством Чеченской Республики, чтобы задать вопросы и получить на них ответы. К сожалению, чеченские чиновники предпочли общаться со мной посредством сообщений других СМИ, а не лично. На контакт вышел только руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Тот самый Лорд, который сопровождал Хеду Гойлабиеву в ЗАГС. Свое отношение ко всей этой печальной истории он выразил в sms:

«Есть такая поговорка у болельщиков: главное не как сыграли, а счет на табло».

Елена Милашина. «Новая газета». 20.05.2015

Эта история произошла в начале мая 2015 года в Чечне. 16 мая в городском загсе Грозного зарегистрирован брак 46-летнего главы Ножай-Юртовского РОВД Нажуда Гучигова и 17-летней Луизы (Хеды) Гойлабиевой. Сообщения о том, что немолодой милиционер собирается жениться на несовершеннолетней, да еще и при довольно темных обстоятельствах – вызвали медийный скандал. Прежде всего, непонятно, разведен ли Гучигов – у него есть уже одна жена и сын от этого брака. Сам жених путался в объяснениях, то отрицая любые матримониальные намерения в отношении Гойлабиевой и воспевая свою любовь к первой (и единственной на тот момент) супруге, то – уже потом – отрицая свои отрицания. Ему, как водится в последнее время, даже пришлось кое-что убрать со своей страницы в соцсетях. По слухам, свадьба назначалась два раза, два раза отменялась; Рамзан Кадыров – покровитель Гучигова – то гневался, то смягчался; говорят, что жители села Байтарки, где живет семья Гойлабиевой, не пускали людей жениха и перекрывали дороги; дороги перекрывали и люди Гучигова. В общем, история мутная и грязная. Отважная журналистка «Новой газеты» Елена Милашина

написала обо всем этом удивительно точный и горький репортаж – за что ее тут же принялись травить в Чечне. В конце концов 16 мая это преступление – а перед нами действительно преступление по формальным признакам, от многоженства до принуждения к браку несовершеннолетней без специальных, оговоренных российским законом причин, – было совершено. О нем поговорили и вскоре забыли. Очередная чеченская история времен Путина, не больше. Но она указывает на многое, что происходит с обществом – не только с чеченским, а со всем российским. С обществом, которое равнодушно взирало на очевидную гнусность.

* * *

«Мачистская гнусность патриархального общества» – феминистки, писавшие об этом, правы. Но я бы несколько изменил формулировку: мачистская гнусность общества, решившего, что оно патриархальное. Ниже речь пойдет как раз о последнем обстоятельстве.

Нынешнее российское общество такое же исконно патриархальное, как Рамзан Кадыров – китайский император. Революция и первые полтора десятилетия советской власти сделали такое общество невозможным – и не только из-за ненависти ко всему, что можно было бы назвать «старым порядком». Ведь для строительства коммунизма нужна довольно однородная масса, так что гендерное различие, как и классовое, воспринималось с подозрением. Целью освобождения советской женщины от патриархального рабства было формирование полноценного строителя новой жизни; отсюда – долой домашний быт, семью и пр. При всем злодействе большевиков, они женщин действительно освободили – по крайней мере, тех, кто остался в живых после Гражданской войны и последовавших, относительно вегетарианских еще, репрессий. Отказ от строительства коммунизма в пользу неявного, обладающего подвижными хронологическими и содержательными границами социализма, отказ от идеи мировой революции в пользу воссоздания Российской империи на относительно новых идеологических основаниях – все это похоронило гендерную эмансипацию; репатриархализация общества была начата при Сталине. Возвращение к практике имущественного неравенства, которое превратилось, как известно, в имущественную пропасть в позднем сталинизме (об этом писала, к примеру Лидия Гинзбург), – вещь из того же ряда.

Новая попытка эмансипации – хрущевское и раннебрежневское время. Здесь дело не только в кавер-версии советских 1920-х, которой была, по сути, оттепель; советские женщины стали зарабатывать примерно столько же, сколько советские мужчины (может быть, чуть меньше, но это не столь важно здесь), но в то же время за ними остались вся домашняя работа и воспитание детей. Советский «мужик» – тут уж действительно неважно, городской или деревенский, – оказался не очень нужен. По большей части он сидел в майке-алкоголичке на кухне, переругивался с женой, которая после работы варила обед да еще и присматривала за тем, как дети делают домашнее задание. Именно тогда советский мужик вообразил, что он тут главный: ведь, как главный, он ничего толком не делает, зато может покомандовать женой, а то и прибить ее. Перед нами разновидность ползучего сопротивления нового советского мещанства против относительно уже старой, полусдохшей коммунистической идеологии равенства; сегодня те, кто клянется в верности заветам прекрасной старины, на самом деле воспроизводят позднесоветский гендерный расклад.

Так называемая «традиция» в постсоветской России есть традиция позднесоветская, глубже 1965 года в основном не уходящая. Знание о более древних обычаях, нежели раздавить пузырь на троих в подъезде, основывается на позднесоветском же кинематографе, литературе и поп-культуре вообще. Показательно, что для производства кислых шуточек по поводу драмы с несчастной чеченской девушкой использовали – что же еще? – фильм «Кавказская пленница» (1966). Мы имеем дело с обществом, на самом деле считающим своим «древним истоком» брежневский Советский Союз, точнее позднесоветскую поп-культуру. «Патриархальность» такого общества воплощена не в седых благообразных старейшинах, разбирающих своры родичей, а в полупьяных мужиках-резонерах, лжецах, насильниках и бездельниках, которые привыкли компенсировать свою никчемность, извергая очередную чушь про 27-летних женщин, потерявших *fuckability*[1]. Забавно, что автор известного изречения не задался вопросом о собственной *fuckability* – ведь он несокрушимо уверен, что рефери здесь может быть только один, в трениках с вытянутыми коленками, в той самой майке-алкоголичке, со стаканом в одной руке и газетой «Советский спорт» в другой. Не почтенный старейшина, а расхристанный Афоня – вот столп постсоветского патриархата. Более того, Афоня и есть символ возможного примирения российского общества: ведь под знаменем «телочек» готов встать практически любой «настоящий мужик» – либерал и крымнашист.

И вот здесь возникает главный вопрос: почему все так происходит? То есть на самом деле: почему все так уже сложилось? Откуда эта страсть ко всему посконному и домотканому, которая оборачивается страстишкой к задушевной позднесоветской тоске, искусно дистиллированной в дюжине клаустрофобических фильмов брежневских времен, где скучные люди додезодорантной эпохи едут в львовских автобусах среди других скучных людей, маются, невесело шутят и, самое главное, знают, что завтра будет как вчера? Разница только в том, что те – позднесоветские – герои от такого знания мучились (пусть и не очень сильно), а нынешние с энтузиазмом мечтают впасть в то же состояние. Наиболее наивные из критиков путинского общества видят в этом возврат то к «феодализму», то к «дикости», а то и к «совку», что совершенно неверно, даже последнее.

«Совок» здесь актуален лишь потому, что поп-культура второй половины шестидесятых – середины восьмидесятых – единственная реальная реальность, доступная нынешнему российскому обществу; то, что было раньше, совершенно непонятно постсоветскому человеку, не прочитывается[2]. Это сознание заперто в камеру, где нет «современности» и нет «будущего», а «прошлое» показывают в телевизоре. Причем «далекое прошлое» берется в образах «недавнего прошлого» и подается зрителю как «вечное прошлое». Так что на самом деле никакого прошлого там тоже нет. Там есть вечное настоящее, которое совсем не означает «современности», модерности. Скорее наоборот: «современность» предполагает историю, вечное «настоящее» – нет. Постсоветский человек просто мечтал выпасть из истории, которая так обидела его. Он сознательно сделал это, так и не поняв, что сам является чистейшим результатом травмировавшей его истории. В итоге историческое время, основанное на идее дискретности хронологически расположенных элементов, сменилось в его голове мифологическим, где все является всем, безо всякого различения. Правы были фоменковцы – «Батый это Христос это Александр Македонский это Батый». Круг всегда замыкается. Напомню: среди последователей «новой хронологии» – Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров. Это тоже многое объясняет.

Говоря попросту, постсоветское общество пытается (причем довольно единодушно) – поверх этнических, культурных, религиозных и даже социальных барьеров – отменить историю, но только для себя самого. Вокруг пусть бушуют события – по возможности неприятные, чтобы был повод позубоскалить, – но здесь у нас все идет по накатанной колее. В этом нет никакого консерватизма; последний исходит из того, что в какие-то

моменты прошлого было хорошо, а в какие-то нет, консерватизм основан на выборе между разными образами прошлого, соответственно на акте различения. Консерватор будет любить либо царя, либо Ленина, либо Сталина, либо Брежнева; любить их всех одновременно он просто не сможет. Роль консерватора в постсоветском обществе пытается играть КПРФ, но вместо консерватизма у них получается розовая рвотная масса, цвет которой определяется сочетанием непереваренных и извергнутых красных (коммунизм) и белых (православие и народность) корпускул. Собственно, вся «традиционность», которой поклоняются сегодня в России, – того же розового цвета.

Итак, отменить историю – задача грандиозная, не менее серьезная, чем желание Ульриха из романа Музиля «Человек без свойств» «отменить реальность». Раз уж зашел разговор о великом модернизме: «отменить историю» в исполнении условного путинского чиновника, чеченского милиционера или скромной учительницы в городе Лукоянов Нижегородской области совсем не соответствует истерическому «проснуться от кошмара истории» в исполнении джойсовского Стивена Дедала. Дедал конкретно-исторически мучим своим конкретно-историческим окружением эпохи Национального Возрождения, когда «национальную традицию» не столько возрождали, сколько изобретали, конструировали, отделывали. Почти все «национально-традиционное» появилось в то время, со второй половины XIX века по начало XX. Это был процесс, приведший в конце концов к мировым войнам, гибели пяти империй, революциям, к созданию независимых «национальных государств», тоталитаризму и авторитаризму, этническим чисткам и геноциду, а также к расцвету позднеромантической литературы, музыки, театра и живописи со скульптурой. Заканчивая «Портрет художника в юности», Джойс просыпается от этого кошмара – и пытается пробудить своего героя. Его следующий роман «Улисс» – памятник этому пробуждению, а тот, кто вводит Дедала в мир настоящей современности, – обыватель, еврей, космополит Блум. Кошмар рабства у изобретенной традиции кончается, начинается бодрствование в современной истории. Постсоветский человек, в отличие от Дедала, не считает историю кошмаром, он просто считает, что она – будучи штукой болезненной и неприятной – для него просто не существует, только для других. Постсоветский человек эгоцентричен, он нарцисс, его не интересуют другие люди, страдавшие и страдающие от истории, – ему достаточно того, что в его жизни, как ему кажется, истории нет места. Оттого знаменитая нечувствительность и несострадание постсоветского человека к

любым прискорбным происшествиям за пределами России, от стихийных бедствий и преступлений геноцида до терактов; единственное чувство, которое рождают у него подобного рода события, – вялое злорадство. Он-то давно вне истории, пусть они там помучаются.

Так что постсоветский традиционализм, частью которого стала советская патриархальность, вовсе не описывается лозунгами и фразами вроде «назад в СССР», «новое Средневековье» или «новый феодализм». На этот счет сказано много глупостей, надеюсь, социологи, антропологи и историки объяснят когда-нибудь, что предпринятое в мае 2015 года в Чечне (и одобренное по всей стране) публичное изнасилование несовершеннолетней не имеет никакого отношения ни к СССР, ни к Средним векам и феодализму. Точно так же как и покупка-продажа пленных девочек головорезами из «Исламского государства». Замечу в сторону, что «черная легенда» о западном Средневековье (а никакого другого и не было), подхваченная прогрессивной советской интеллигенцией и некритически воспринятая сегодня, сильно затемняет любой разговор о нынешнем дне вообще. Все, что прогрессивному интеллигенту не нравится, он списывает на непонятное ему далекое время, когда ходили в Крестовые походы, сжигали ведьм, поддавались суевериям и даже не догадывались, что все эти привычки будут осуждены в романах Стругацких. Интеллигенту невдомек, что ведьм сжигали по большей части уже после конца Средних веков, суевериям он сам поддается ничуть не меньше средневекового человека, а большинство так называемых средневековых (или даже древних) традиций придумано относительно недавно, века два тому назад, если не позже. Но вернемся к нашему предмету, к отказу от истории.

Здесь следует отделять интенцию от результата. Первая вполне буржуазна, точнее мелкобуржуазна. Мелкий буржуа определенного сорта, а именно рантье, – вот кто мечтает оказаться вне истории. Жизнь на ренту возможна для людей, начисто лишенных желания действовать самим, на свой страх и риск, и в то же время мечтающих, чтобы, пока они предаются безделью, проценты капали безостановочно. Постсоветский человек после некоторых покушений в 1990-х на что-то интересное (и даже дерзкое) успокоился, остепенился и принялся жить на проценты. Сначала это были проценты от продажи ресурсов, а потом, постепенно, не без зловещего участия культурной обслуги власти, экономический ресурс превратился в символический. Как блистательно показал Илья Калинин[3], вместо нефти ресурсом стала история; на самом деле даже не

история вообще, а позднесоветская версия истории, сформулированная коллективными усилиями разных людей, от Пикуля и Чивилихина до Эйдельмана и Лотмана, от Сергея Бондарчука до Говорухина. Именно там – неисчерпаемые залежи всех необходимых представлений о прошлом. Удивительное время – именно тогда несколько тысяч людей изобрели весь необходимый подножный культурный корм для нескольких последующих поколений. Они создали огромный капитал, потомки положили его в банк, живут на проценты и мечтают о том, чтобы это не кончалось никогда. Это не кончится никогда, если объявить капитал, банк и себя, получающих проценты, вечными, не подверженными историческому времени.

Если интенция была (и есть) мелкобуржуазная, то результатом стала психология рабов. Я далек от публицистической взвинченности/истерики и пошлых рассуждений об «исконном русском рабстве», «нации рабов» и прочей чепухе. Вся «исконность» такого рода – тоже относительно свежей выработки. Но есть вещь, которую следует иметь в виду. В эпоху Нового времени не было ни одного класса или большой социальной группы, действительно существовавших вне истории. Даже крестьянство, которое часто обвиняют в «отсталости» и прочем, на самом деле жило и живет именно в истории – если под последней понимать конъюнктуру рынков сельхозпродукции, систему кредитования сельского хозяйства, государственную и международную поддержку аграрного сектора и прочее, прочее, прочее, включая политику, от которой все вышеперечисленное зависит. Крестьянство было важной движущей силой русских революций, Гражданской войны в Испании и т. д. Я уже не говорю о пролетариате, среднем классе и элите. Все они живут – пусть порой и нехотя, по обязанности, следуя своему классовому предназначению, – в истории. И только раб находится в ментальном пространстве вне ее. Раб обитает исключительно в циклическом времени рабочего дня, ибо никакого серьезного изменения его участи, его статуса не будет почти никогда. Ему не на что надеяться – и он не надеется. Оттого он безразличен и к прошлому, и к будущему. Раб не живет общественной жизнью, так как у него нет общественного интереса – и быть не может. Раб не живет политической жизнью, ибо не может иметь политического интереса. Наконец, раб имеет только одну – иногда очень мощную и живую – культуру, свою. Другие культуры могут представлять для него лишь поверхностный, снисходительный интерес.

Конечно, речь идет о современном рабстве, эпохи модерности, а не о древнем. О рабстве, что сложилось в раннее

Новое время, а потом обрело второе дыхание в XX веке. Об этом писал в 1942 году Оруэлл: «Кто мог представить себе двадцать лет назад, что рабство вновь станет реальностью в Европе? А к нему вернулись прямо у нас на глазах. Разбросанные по всей Европе и Северной Африке трудовые лагеря, где поляки, русские, евреи и политические узники других национальностей строят дороги или осушают болота, получая за это ровно столько хлеба, чтобы не умереть с голоду, – это ведь самое типичное рабство. Ну разве что пока еще отдельным лицам не разрешено покупать и продавать рабов. Во всем прочем – скажем, в том, что касается разъединения семей, – условия наверняка хуже, чем были на американских хлопковых плантациях». Подобное рабство, имевшее в разных странах разную историю (кое-где, слава богу, его не было вовсе), – тоже изобретение недавнее, но маскирующееся под «традицию»; не зря даже такой тонкий мыслитель, как Оруэлл, использует вводящее в заблуждение словечко «вернулись». Нет, не «к нему вернулись», а «его создали». Безусловным чемпионом по такому современному рабству в прошлом веке стал СССР. Потомки тех, кто пережил самые жуткие советские времена, восприняли выпадение из истории, которое для их предков было трагедией, как самый легкий и необременительный, даже приятный вариант. Так постсоветское буржуазное сознание, сознание пусть мелкого, но господина, переизобрело себя как сознание раба.

Поэтому все, что происходит внутри круга «неистории», по умолчанию хорошо и правильно, ибо так было и так будет. Если почитать многочисленные сетевые комментарии по поводу отвратительной чеченской свадьбы, в этом убеждаешься. Кадыров неудачно все организовал, это да. Астахов неудачно пошутил – верно; мужику ведь можно пороть чушь, разве нет? Но, по сути, ничего страшного: подумаешь, девушку в 17 лет насильно отдали немолодому женатому дядьке, тоже мне трагедия, вы что, «Кавказской пленницы» не видели? Там, в горах, всегда так было! Но главное даже не это, а совсем другое. Как сформулировал один из милых доброжелательных россиян, если браки геев – это хорошо, то почему же это плохо? Вот здесь выпавшее из истории сознание встречается с историей. Браки геев – результат долгой, сложной общественной кампании и политической борьбы. Они – продукт изменения, значит, продукт истории. Оттого они «плохи». А насилие над несчастной тинейджерицей под хамский гогот толпы – это «хорошо», так как в нашем бараке так повелось. Традиция.

Любопытно вот что: никто никого не заставлял – и не заставляет – так думать, говорить и действовать. Всё сами.

Сенцов и чужие

Олег Сенцов (1976 г.р.) – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. Активист Автомайдана. После захвата Крыма Россией в 2014-м был арестован на полуострове и обвинен в подготовке терактов. Несмотря на многочисленные свидетельства фабрикации дела, сообщения о пытках и протесты международной общественности, 25 августа 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима, где и находится на момент написания этого текста.

* * *

Евгения Васильева (1979 г.р.) – российский предприниматель, менеджер, чиновник. Бывший начальник имущественных отношений Министерства обороны России. Имя ее получило широкую известность осенью 2012 года в связи с коррупционным скандалом в Минобороны, ставшим причиной отставки министра Анатолия Сердюкова (которого считают не только покровителем, но и возлюбленным Васильевой). 8 мая 2015 года приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. По официальным данным, отбывала наказание с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО, затем 34 дня в колонии во Владимирской области. В срок заключения засчитано также пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года. 25 августа 2015 года районный суд, где находится колония, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, которая, как объявлено, возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей. Освобождена и покинула колонию по решению суда немедленно, в тот же день.

* * *

Приговор Олегу Сенцову и освобождение Евгении Васильевой, одновременно произошедшие, вызвали сильнейшую реакцию.

* * *

Кумулятивный эффект: совпав по направлению воздействия, обе драмы прожгли броню равнодушия довольно многих и подорвали боеприпас негодования. Негодование сменилось бы яростью, говори мы сейчас об иной социальной группе; интеллигенция в РФ от негодования переходит к столь понятному (и даже психологически удобному) отчаянию. Происходило это так: в соцсетях сначала вывешивались (рядом) фото Сенцова и Васильевой, ниже перечислялись содеянное и наказания на содеянное. Дальше – уже от владельца аккаунта – следовало восклицание: «Доколе!» Или: «Гады!» (часто и покрепче). В завершение – либо недобрые пожелания в адрес судей и власти вообще (ад, угольки, Гаага), либо известное рассуждение насчет «дна» и стука оттуда. Схема отработанная, все это повторялось не раз, оттого можно обозначить некоторые закономерности и проанализировать ряд распространенных заблуждений.

Прежде всего стоит отметить: как негодовать по поводу приговора Сенцову, так и оплакивать освобождение Васильевой бессмысленно. Такие вещи должны были произойти – вот они и произошли. В первом случае, говоря о действиях суда, мы имеем дело с логикой убийц (посадить нестарого человека в русскую тюрьму на 20 лет – значит его убить, пусть и не до конца, при счастливом исходе). В этом нет ничего сверхъестественного: убийцы были всегда и, увы, всегда будут. Одними из них движет корысть, другими – идеология или верность долгу, третьими – природная жестокость. Да, убивать в бою или в иной ситуации, когда ты сам в опасности, более, скажем так, почетно. В случае приговора Сенцову никакой опасности для судей нет и не было – воображение у них развито недостаточно, чтобы представлять себе загробные адские муки или вполне комфортные стулья зала заседаний условной Гааги. Судьи делают свое дело в той же мере, как все это сословие (думаю, за небольшим исключением) в нынешней РФ. Глупо и опасно представлять себе трогательные картины их моральных метаний, их скупые мужские слезы, попытки отмыть нечистую совесть алкоголем, исповеди старым друзьям на полуночных кухнях и т. д. Ничего этого нет. Им сказали – они сделали.

Тут важно другое – на самом деле неинтересно, что там с ними происходит. Совсем неинтересно. Психология здесь излишня: ведь речь идет об *aliens*, только эти пришельцы ниоткуда не прилетали, они просто всегда были рядом. Отсюда и иллюзия, что психология в их отношении работает. Много способствовали этому заблуждению сочинения Достоевского и небезызвестная книга Арендт «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме», которую так любят цитировать, особенно те, кто ее

не открывал. Увы, это не имеет никакого отношения к действительному положению дел. А оно таково: им приказали – они убили. Или: им захотелось, и они убили. При случае убьют еще. Не будет случая – не убьют. Вот и вся психология.

Aliens не хуже и не лучше остального населения земного шара: они другие, как и прочие составные части этого населения. Терзания в рамках иудеохристианской этики не имеют отношения ко всем – как и умение ловко перерезать горло пленному. И то и другое похвально – в рамках соответствующих референтных групп. Беда начинается, когда привычки и правила одной начинают применять к другим, в чем особенно преуспела литература начиная с эпохи романтизма и – уже в XX и XXI веках – поп-культура. Отсюда и все эти образы кающихся убийц, столь прекрасных в своем этическом вочеловечивании.

Особенность нынешнего момента в России заключается в том, что немалая часть населения представляет собой *aliens*. Давно замечено, что постсоветские катастрофы, будь их детали самыми что ни на есть душераздирающими, невыносимыми для внешнего взгляда, вроде «перестукивания» с мертвыми подводниками на затонувшем «Курске» или сгоревших детей Беслана, на самом деле мало кого тронули. Задушевности, особенно официозной, сколько угодно. Пустили слезу, утерли платком и пошли дальше. Но сочувствия, уж простите за высокий термин, сострадания – нет. Для задушевности достаточно имитационной психологии, так сказать, механических реакций на внешние раздражители, вроде того как Горький плакал, читая рукописи из самотека. В подобных реакциях не задействованы воля, ум, любой другой глубинный человеческий элемент.

Aliens устроены по-другому. Они – цельные натуры, высеченные из одного куска. Их принцип – поддержание собственного существования, задача чисто техническая, я бы даже сказал – методологическая, ибо без принципа эффективности тут ничего не работает. Минимум затрат, максимум мощного инерционного продвижения по жизненному кругу. Поверхностные ахи, та самая задушевность, иногда придают *aliens* чертовской привлекательности, как в случае беллетриста Лимонова, который всегда пишет про одно – про мелкие нервные реакции, отчего-то происходящие на поверхности чугунной чушки.

Настоящие убийцы – не всегда *aliens*. Но *aliens* составляют рекрутский резерв корпуса убийц, это бесспорно. Вопрос, если вернуться к нынешней ситуации в РФ и к приговору Сенцову, очень прост. Как так произошло, что «чужие» столь многочисленны здесь, столь влиятельны? Обычно говорят: мол, это совок возвращается, Сталин и все такое. Отнюдь. Ничего

никогда не возвращается. *Aliens* – продукт новой эпохи, постсоветский человек как он есть, атомизированное существо, предоставленное самому себе в смысле выживания, привыкшее автоматически прибиваться к сильному, а став сильным, сделать все, чтобы и дальше пребывать таковым. Чистая механика плюс инстинкт самосохранения, никакой психологии. Для *aliens* совершенно все равно – нация, идеология, этическое, эстетическое, любое другое. Чистая эффективность. Потому единственная из постсоветских профессий, пришедшаяся постсоветскому миру по нраву, – кроме, конечно, охранника – это менеджер. Равнодушие *aliens* к моральным, политическим, социальным и прочим последствиям своих поступков есть равнодушие менеджера к тому, чем занимается завод, которым его поставили порулить. Пекарня или химкомбинат – какая разница?

Впрочем, у *aliens* есть еще одна важная особенность. Они декаденты. Обычно под декадентами понимают каких-то невероятно изысканных людей с интересной бледностью в лице. Абсент, дамы в черном курят пахитоски, гашиш, Бодлер и череп на каминной полке. На самом деле декадент – тот, кто может существовать только в ситуации упадка: нравов, политического устройства, экономики и т. д. Но прежде всего, конечно, нравов. Иными словами, декадент существует на ренту, величина которой находится в обратной зависимости от реальных общественно признанных ценностей. Чем хуже дело с ними, тем лучше дела у декадента. Не зря же многие находили декадентский шик у сутенеров.

Однако это – осмысленное декадентство, порой (но нечасто, надо сказать) даже плодотворное в культурном смысле: громкие имена всем известны. Но ведь жулик, лжец, убийца (особенно убийца) – тоже декадент, даже если он вместо абсента с гашишем запивает кружкой доброго пива свиную отбивную и галлюциногенным оргиям предпочитает мирное сопение в постели рядом с женой. Или, к примеру, исправно бьет земные поклоны в церкви. Декадент, даже несознательный, живет упадком, паразитирует на нем, как червяк на трупе. Постсоветская история РФ в конце концов закончилась скучной картиной именно такого рода. Если посмотреть на персональный состав высших, средних и нижних эшелонов власти в стране, а также в самых важных институциях, то везде мы увидим примерно одно и то же: менеджеры-декаденты в разной степени осознания принадлежности к обеим категориям.

Из вышесказанного следует два важных вывода. Первый касается общественной реакции на приговор Олегу Сенцову. Как

и в предыдущих – уже многочисленных – случаях, реакция эта наивна. Обычно обсуждаются персональные характеристики судей, следователей, охранников и сервильных журналистов. Как выглядят. Как одеты. Как читают приговор. Помню, одна прогрессивная журналистка с гламурными запросами целую социально-психологическую драму сочинила про секретаршу суда то ли над Ходорковским, то ли над *Pussy Riot*. Мол, одета она на рынке, бижутерия у нее дутая, мейкап вообще как у гулящей девки и все такое. Из вышесказанного делался вывод о чуть ли не социальной войне постсоветских нестильных неимущих против постсоветских стильных (имущих и неимущих в равной степени). «Шинель» и «Бедные люди» в изложении Трумена Капоте. Все мило, только никакого отношения к делу это не имеет. Как и то, бормочет ли судья приговор или читает хорошо поставленным голосом, бегают ли глазки у лжесвидетеля, хорошо ли сидит пиджак на плечах подлого журналюги. Не стоит психологизировать то, что не имеет психологии. *Alien* все равно, что о нем думают и говорят люди, от которых не зависит его существование и воспроизводство его существования. И, конечно, бессмысленны восклицания про «дно» и «завтра всему этому придет конец». Нельзя выдавать собственную истерику за реальность сознания совсем других людей. В лучшем случае идея «дна» есть метафора сознания тех, кто так рассуждает. А то и просто – фигура речи. Декаденту – если он благосклонно примет идею вечного падения на дно – эта идея очень даже понравится. Декадент кормится падением. На все сетования о человеческих трагедиях *alien* всегда холодно заметит: мол, она утонула.

Второй вывод касается Евгении Васильевой, а то мы тут про нее слегка подзабыли. Если негодование по поводу приговора Олегу Сенцову вполне по-человечески понятно, то страсти вокруг освобождения Васильевой загадочны. Если мы считаем, что Сенцова судил не суд, а кучка *aliens*, никакого отношения к юриспруденции, судопроизводству, законности и просто чувству справедливости не имеющая, то почему мы должны считать, что Васильеву судил кто-то другой? Я не в смысле, что она невиновна или виновна. Об этом мы просто не можем знать, так как нынешняя Россия не является «государством» в обычном смысле этого слова, то есть государством, одна из функций которого – принятие законов, их применение, их поддержание и охрана. В любом отдельном случае группа декадентствующих *aliens* делает то, что ей в этот конкретный раз нужно. Общих правил нет никаких, кроме одного – правила, что общих правил нет. Оттого все разговоры о неопровержимых доводах защиты или обвинения бессмысленны, они лишь затемняют дело и создают иллюзии. Так

что, думаю, невозможно что-либо определенное сказать ни об одном приговоре, вынесенном сегодня на территории РФ. А если так, то тем, кто не входит в число *aliens*, надо только радоваться освобождению человека из русской тюрьмы – ведь все знают, что такое русская тюрьма.

Столь же наивно возмущаться хронологическим совпадением посадки Сенцова и освобождения Васильевой. Во-первых, никакого умысла власти тут нет. Случайное совпадение. Власти все равно, что думают по поводу нее не-*aliens*, а *aliens* всегда думают про власть одно и то же, когда власть сильна. Когда она слаба, они думают уже по-другому. Так что власти интересно именно их мнение, а их мнение зависит от нее самой. Круг замыкается: перед нами идеальная, замкнутая на себе система. Во-вторых, будет сидеть Васильева или не будет – это на самом деле не интересно никому, кроме самой Васильевой и небольшого круга лиц, вовлеченных в ее историю. В этом сюжете нет политики – ибо здесь вообще нет политики. Политика предполагает систему институтов, которую называют государством. Само понятие «институты» предполагает наличие долгосрочных интересов, ответственности и т. д. К примеру, таким институтом является суд. Даже в СССР с его всегда неправедным судом в делах политических он являлся институтом государства – купить судью было сложно, идея «социалистической законности» также не была чужда ни населению, ни самим судейским. То, что мы видим сейчас, институтом не является: это набор находящихся на разных уровнях разнообразных групп людей с разнообразными функциями, преследующих свои собственные цели. Эти группы столь же замкнуты, как высшая власть, о которой мы только что говорили, – но от этой власти так или иначе зависят. Как только власть исчезнет или станет дряхлой, эти группы будут искать покровительства другой власти. Или, скорее всего, как мне кажется, во множественном числе – других властей.

Так что выход Васильевой на волю вовсе не явился пощечиной общественному мнению. Отнюдь. Просто единичное событие в море подобных единичных событий, не имеющих между собой никакой связи. Ставить его на уровень приговора Олегу Сенцову неправильно – да и просто глупо.

А вот приговор Олегу Сенцову – безусловная трагедия. Единственный герой в этой трагедии – сам Сенцов, человек, говоря метафорически, однажды проснувшийся в другом государстве. Не потому, что его прежнее распалось или даже исчезло, нет: он проснулся на той территории своего государства, которая была захвачена другим государством. И он, в отличие от

aliens, подумал, что это как-то нехорошо – и даже стыдно. И потому ему вынесли приговор. Не как Йозефу К. Нет. Как Цинциннату Ц.

Интеллигенция, Революция – и Мединский

Вот, под игом грязи и мерзости запустения, под бременем сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья, люди как-то рассеялись, замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпаками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда действительно хамело человечество, и в частности – российские патриоты.

Александр Блок

Время от времени я предлагаю друзьям такую игру: назвать пять крупных (понимая всю глупость деления на «мелких», «средних» и крупных») русских писателей и поэтов, которые – так или иначе – были против Февральской революции. Не будучи историком литературы, я довольствуюсь исключительно догадками и интуицией, мои друзья, по большей части, тоже. И вот получается, что если говорить о феврале 1917-го, а не об октябре, то противников революции почти нет. Кажется, Бунину она не понравилась, но я не уверен. И все. Самые убежденные монархисты, даже почти черносотенцы, те, кто еще недавно глупыми виршами и статейками воспевал триумфы солдатушек над «фрицами», – даже они не выказали гнева и разочарования. Тон Василия Розанова в «Апокалипсисе наших дней» почти торжествующий; возможно, это своего рода истерика, но повод ее серьезен – мгновенно обнажившаяся пустота предыдущего порядка вещей. Можно, конечно, упрекать русских авторов в цинизме и приспособленчестве, но очевидно все-таки другое – точно так же, как в армии и полиции мало кто вызвался с оружием в руках защищать власть Николая Второго, среди культурных деятелей не нашлось большого количества желающих публично сказать пару добрых слов в адрес «старого режима» и свергнутого монарха лично. «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь».

Сегодня у заинтересованного наблюдателя есть возможность проследить – уже на новом материале, – как работает механизм деградации власти и ее представления о себе и об обществе, как разворачивается процесс, ведущий к тем самым роковым

розановским двум-трем дням. Российская власть неустанно добавляет детали к печальной картине; один из самых щедрых поставщиков деталей – министр культуры Владимир Мединский. Именно он – по долгу службы и по званию «историка», которое он сам себе присудил, – то и дело вспоминает и о феврале 1917-го, и о деятелях культуры вообще. В опубликованной летом 2015 года в «Известиях» статье с длинным названием «Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую армию»[4] министр наставляет: «Главный механизм культурной политики – отнюдь не “покупка лояльности лидеров общественного мнения”, “признанных творческих авторитетов”. Это все недорого стоит – что было доказано и в феврале 1917-го, и в августе 1991-го, когда именно обласканная казной творческая элита оказалась в авангарде сил, разрушавших государство».

Высказывание любопытное: Мединский попытался убить двух зайцев одной фразой. Про «покупку лояльности лидеров общественного мнения» и «признанных творческих авторитетов» (у министра непростые отношения с русским языком, как видим) – это он так отмежевывается от сурковских времен, когда лояльность «творческих авторитетов» действительно покупалась или имела быть купленной, впрочем не всегда успешно. Нынче другие времена, намекает Мединский, раньше Марат Гельман обустраивал Пермь, а теперь – Черногорию, несколько лет назад Макаревич пел песни Медведеву, а сегодня… все знают, где теперь Макаревич (что касается Медведева, то почти уже никто не помнит, кто он таков).

Но самое интересное другое – это исторические аллюзии, ведь, как мы помним, Мединский называет себя историком. Аллюзий две – август 1991-го и февраль 1917-го. В первой автор статьи выказывает удивительное непонимание либеральной столичной советской культурной элиты – в смысле ее представлений о политически допустимом. Марк Захаров, радостно приветствующий Пуго с Язовым, – такого даже Фоменко вообразить не может. Да и вообще сюжет августа 1991 года не в том, что кто-то взял и сверг существующую власть. Мединскому тогда был 21 год, он учился в МГИМО, так что можно было бы извлечь из памяти ход событий: сначала путч против Горбачева, а потом уже триумф Ельцина. Государство убило себя само. Впрочем, Мединский – специалист по иным периодам, мог упустить из виду, бывает.

Если первая аллюзия выглядит довольно наивной, то вторая, увы, представляется плодом исторического невежества председателя Российского военно-исторического общества. Оказывается, в феврале 1917-го некая, как изящно выражается

автор, «обласканная казной творческая элита» взяла и встала в авангарде роковых сил. В этом авангарде кое-кто был, это правда, только очень сложно представить себе, как казна «обласкивает» Зинаиду Гиппиус, или Маяковского, или Блока, не говоря о том же самом Розанове. Мединский явно перепутал времена; двор иногда действительно кое-что подкидывал писателям и художникам в виде заказов, и те рисовали «Заседание Государственного Совета» или сочиняли частушки про незадачливого кайзера Вильгельма, но казенные ласки носили спорадический характер, конечно. Систему придумали сначала большевики, а потом Сталин; но в сознании министра культуры «признанные авторитеты», начиная с летописца Нестора, ежемесячно выстраиваются в очередь в кассу за госзарплатой. А потом, о ужас, уходят в авангард. Перед нами типичное позднесоветское сознание, в котором все, что было до него, пропускается через советский фильтр.

Здесь одна из болевых точек нынешней российской власти, в частности ее культурной политики. «Авангард». Слово сегодня почти ругательное. Авангард в эпоху модерна, в том числе русский авангард, – утопическая попытка создать не новое искусство, а нового человека и новое общество, это проект будущего, а будущего нынешняя русская власть боится, она пытается всячески избежать не только разговора о нем, но даже мимоходного упоминания. Оттого авангард ненавистен во всех его проявлениях, от политического до художественного. Конечно, выходит несколько неловко – ведь «русский авангард» есть одна из немногих «конвертируемых» за пределами русской культуры вещей прошлого века, соответственно, им можно «гордиться», он есть часть «нашей великой традиции». Поэтому во времена Мединского русский авангард пытаются обезвредить, превратив в милый благонамеренный культурный мусорок, который отчего-то любят просвещенные иностранцы. Любят? Ну и пусть. А мы погордимся. На московской выставке 2015 года «В гостях у Родченко и Степановой» можно было ходить от стенда к стенду, из комнаты в комнату и ничего, кроме следов благодушного чудачества трудолюбивых супругов, не замечать. В сопровождающих текстах, в самой концепции выставки практически не было революции, Гражданской и Отечественной войн, не было истории. Собственно, цель нынешнего министра в том и заключается: остановить историю, выключить ее механизм, похоронить реальные социальные, политические, экономические, культурные интересы и запросы реальных людей и общественных групп под болтовней о «традиции».

Главное – лишить «историю» какого бы то ни было значения,

отказать фактам в существовании, превратив «историю-изменение» в неподвижное «прошлое», где царит не имеющая начала и конца «традиция». Статья в «Известиях» – прекрасный пример того. В ней разворачивается концепция отношений Российского государства и культуры (в данном случае – театра), но совершенно безотносительно конкретных исторических обстоятельств. Что XVIII век, что XX – Мединскому все равно. Как опытный пиарщик, он видит в любой ситуации игру спроса и предложения, где первый определяется некоей вечной властью, которая вечно отражает интересы державы и ее подданных, а второе есть банальное предоставление культурных услуг на предмет развлечения и поучения тех же подданных под снисходительным присмотром той же власти. Задачу свою министр видит в доведении этой ситуации до кристальной ясности: государство диктует набор ценностей, полезных для общества, с этими ценностями культура и должна работать, если хочет быть «обласканной казной». Автор, конечно, ссылается на некое общественное мнение в России, якобы исключительно традиционалистское и даже чуть ли не религиозное, но, думаю, даже сам Мединский знает, как сегодня считают общественное мнение, да и само это мнение есть отражение того, чего от него хочет – посредством медиа – власть. Круг замкнулся. Нет здесь никакой идеологии, сплошной социокультурный аутизм, превращенный в набор скверно написанных рекламных слоганов.

Что же до столь мудрой культурной политики консервативных русских императоров вроде Николая Первого, у которой предлагает учиться министр Мединский, то как тут опять не вспомнить Розанова. В «Апокалипсисе наших дней» он пишет: «Между тем Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Гоголь, Филарет – какое осияние Царства. Но Николай хотел один сиять “со своим другом Вильгельмом-Фридрихом” которым-то. Это был плоский баран, запутавшийся в терновнике и уже приуготованный к закланию (династия)».

P.S. Моя любимая фраза в статье Владимира Мединского: «На глазах нашего старшего поколения деградировала советская культура, скованная “идеологически выверенными” циркулярами. В результате классики рок-н-ролла родились в Ливерпуле, а не в Одессе. В итоге могучая, казалось бы, советская культура, целиком заточенная под идеологию, в целом оказалась и содержательно, и творчески бессильна перед вызовом западного “масскульта” и в целом нравственного кризиса конца XX века». Здесь все замечательно – и Одесса в должности Ливерпуля, и масскульт в кавычках, и, конечно же, противопоставление «нравственного кризиса конца XX века» неназванным, но явно

чтимым автором нравственным высотам предыдущего периода времен Аушвица, Колымы и проч.

Праздник народного единства

Ниже речь пойдет отчасти и о самом авторе. Впрочем, я постараюсь соблюдать известную дистанцию по отношению к описываемым фактам; в любом случае автор же тоже человек, так что и с ним иногда происходят какие-то интересные вещи, которые полезно обдумать. Никакой саморекламы, просто так вышло.

Осенью 2015 года я дал интервью о Шерлоке Холмсе одному московскому изданию[5]. Речь в нем шла о разных интересных для меня вещах – о рецепции Холмса в позднем СССР и постсоветской России, о том, какими могли быть политические взгляды детектива, о жестоком викторианском мире – и о вполне понятной аберрации, из-за которой этот мир ретроспективно воспринимается как «уютный», «безопасный» и даже «милый». В какой-то момент интервьюер спросил: кем сегодня мог быть Шерлок Холмс? Оказался бы он представителем продвинутой части населения со всеми ее модными привычками вроде вегетарианства? Меня несколько покоробила такая постановка вопроса: вегетарианство уж точно нельзя назвать «модной привычкой» – этому образу жизни несколько тысячелетий, он обусловлен в разных случаях разными причинами. Да и вообще дело это серьезное, по крайней мере для меня. Чтобы не бубнить всего этого в интервью – которое, предполагалось, должно быть веселым и даже лихим, учитывая характер издания, – я решил сыронизировать и даже подтрунить. Сказал, что Холмс сегодня был бы даже не вегетарианцем, а веганом, объяснив это как «моральной опрятностью» сыщика (качество, подмеченное еще доктором Ватсоном), так и беспощадной его логикой, благодаря которой Холмс обычно доходил в своих выводах до конца. Пошутил, конечно, только отчасти – я действительно так думаю, а ироническая завеса потребовалась, чтобы не разжевывать столь очевидные мне вещи на страницах модного издания. Пусть читатели сами слегка призадумаются.

Как только интервью опубликовали онлайн (а слова про Холмса, который сегодня был бы веганом, оказались вынесены в заголовок), я заглянул в комментарии на сайте этого издания. Зачем – не знаю. Обычно я такого не делаю, ибо знако́м – как и все мы – с яростным накалом неопрятной достоевщины, который поддерживается на любом форуме, от политического до кулинарного, особенно если он на русском языке. Но тут, будто что-то предчувствуя, я решил все-таки посмотреть. И был вознагражден. В первых же репликах на меня посыпались самые

разнообразные обвинения – от нарциссизма и снобизма до идиотизма и невежества. И все потому, что я рискнул сказать такое про Холмса. Рискнул вообще заговорить о веганстве нормальным языком, заранее не извиняясь, не делая книксенов, не подсмеиваясь над собой, иными словами – не совершая всего того, что в обычной постсоветской жизни вынуждены проделывать представители любого из так называемых меньшинств.

Да, я веган – и свои предположения о воображаемой диете сегодняшнего Холмса строил на собственном опыте, который, естественно, оставил при себе, познакомив читателя лишь с выводами. Да, я действительно считаю, что веганство есть хороший способ проявить учтивость по отношению к окружающему миру, животным и людям. А учтивость я ценю чуть ли не превыше всего. Да, я действительно считаю, что веганство есть очевидный логический вывод из определенного хода размышлений об устройстве нашего мира – если только действительно честно додумать мысль до конца. Но я никогда не объявляю об этом окружающим, не проповедую, а просто держу при себе. Это мое частное дело – чем я питаюсь; более того, это уж точно мое дело – что я думаю по поводу устройства окружающего мира. Если меня просят, делюсь некоторыми из соображений, но не больше. И все вот это я – в своей гипотезе – приписал Холмсу. И все вот это вызвало дикое раздражение публики.

Раздражение, как сыпь, перекинулось с сайта издания, где было опубликовано интервью, на социальные сети. Я вывесил ссылку на беседу о Холмсе у себя в Фейсбуке (я тогда еще не покинул гостеприимную сеть) – и получил десятки взвинченных комментариев, где веганов (и меня самого) обвиняли в том же самом снобизме, «элитизме», неуважении к бедным, у которых якобы нет денег на веганскую диету, в том, что я сноб, красного дерева тростью с набалдашником из слоновой кости. Я пытался было утихомирить страсти. Отвечал шутливо, вежливо, отстраненно, но потом и меня стало одолевать раздражение. Как объяснить этим идиотам, что они идиоты? Ответа на подобный вопрос не существует, да и сама его постановка ложная – никому ничего объяснять не надо. Решив так, я успокоился и перестал следить за развитием событий в комментариях в ФБ; меж тем в отсутствие хозяина там разыгралась нешуточная война, воздух сотрясали взаимные оскорбления, люди, которые были дружны не первый год, ругались, разрывали отношения и т. д. Все это напоминало какой-нибудь ранний рассказ Сорокина, где банальное партсобрание незаметно, следуя параноидальной

логике автора, переходит в каннибалистскую оргию.

Впрочем, через день я все-таки решил продолжить тему – то ли из дурацкого желания подразнить, то ли действительно намереваясь выяснить причину столь бурной реакции на скромное рассуждение о гастрономических привычках некоторых людей. И я написал в Фейсбуке – где же еще? – пост, в котором поставил следующий вопрос, даже не вопрос, нет, просто выразил недоумение:

«Опытным путем и совершенно случайно наткнулся на главный источник раздражения постсоветского человечка. Это не Путин, не Майдан, не мигранты и даже не геи с евреями. Нет. Это вегетарианство и особенно веганство. Стоит случайно упомянуть о них, даже говоря о совсем других вещах, постсоветский человек тут же начинает нервно ерзать, будто его самого уличили в краже свечек в церкви. Он гордо сообщает окружающим: “А я вот без мяса не могу!” (хотя его никто об этом не спрашивал), он обвиняет немясоедов в снобизме, в измене духовности, задушевности, рабочему классу, Родине и проч. Он ревниво намекает на социальный статус и географическое нахождение супостата и рассуждает на тему “вы там все зажрались, а у нас Тамбовская область от нищеты на пельменях и гнилом мясе сидит!” В этом вопросе нет консерваторов, либералов, фашистов и коммунистов, здесь полное неотрефлексированное единство если не взглядов, то уж реакций точно. Думаю, что вот это единство и есть загадочный “русский мир”».

Реплика моя была несколько политизирована, ибо я обращался именно к русской аудитории. Но я нисколько не преувеличивал насчет единения вокруг нелюбви к веганам/вегетарианцам – самые воспаленные комментарии к моему интервью принадлежали людям, которых я знал давно, друзьям и приятелям с совершенно для меня безупречным послужным списком в смысле этических взглядов, поступков и политических пристрастий. И вот они на моих глазах, объединившись с мужскими шовинистами, путинистами, националистами и прочими нехорошими людьми, негодовали по поводу мимолетного упоминания об одной – несвойственной им – стороне образа жизни. Особенно старалась некая левая активистка (впрочем, лично мне незнакомая), выступающая обычно за все хорошее и против всего плохого: она взывала к моей совести, социальному состраданию, утверждая, что в сибирских деревнях (*sic!*) бедные жители без мяса и молока не протянут. И что веганство придумали «лондонские снобы», которым просто нечем себя занять, – у снобов обычно несколько машин, большая недвижимость, а банковские счета вспухли от

доходов. И вот, чтобы успокоить нечистую совесть, снобы из Лондона отказываются от мяса и ведут «этический» образ жизни. Насколько я себе представляю эту левую активистку, она восточнее Нижнего Новгорода никогда не бывала и о ситуации в «сибирских деревнях» судит по смутным детским воспоминаниям о советских киносериалах из истории Гражданской войны.

Моя новая реплика вызвала еще больший всплеск эмоций, за которым я, честно говоря, устал следить. Вообще вся эта история мне крайне надоела, и я уже не рад, что ее затеял. В конце концов, Шерлок Холмс, слава богу, до времен Джастина Бибера, Владимира Путина и нового припадка ксенофобской эпилепсии в Европе не дожил, так что нечего и спекулировать: по-прежнему бы он имел обыкновение баловать себя холодной куропаткой или перешел бы на спаржу и киноа? Что же касается моих собственных взглядов на производство и потребление животноводческой продукции, то они для меня кристально ясны, для других – совершенно радикальны, но я – еще и еще раз повторяю – не намерен пасти народы. Точка.

Однако вышеизложенный сюжет обладает и иным измерением, если отвлечься от того, что философ Александр Пятигорский называл «сферой психизма», – то есть отвлечься от раздражения по поводу несовершенства окружающего мира. Действительно, что происходит? Почему отношение к вегетарианству/веганству объединяет столь разных людей? Нет ли здесь богатой поживы для историка, антрополога, социолога? Мне кажется, этот сюжет имеет несколько уровней, но среди них нет главного. Наоборот, при определенных обстоятельствах сюжет может обернуться то одной стороной, то другой.

Уровень первый – самый простой; он находится на поверхности и обычно используется для объяснения странного, почти единодушного раздражения, вызываемого веганами/вегетарианцами. Обычно его определяют как «страх чужого», «подозрение к чужаку», «раздражение и неуверенность по поводу существования иного». Здесь все ясно. Тот, кто ест мясо, подозрителен к тому, кто его принципиально не ест, – оттого, что второй делает нечто, в принципе возможное для первого (и даже иногда втайне желательное), но первый этого таки не делает. То есть он не отказывается от мяса. Точно так же обыватель не любит героя, обычный человек раздражен существованием аскетов и проч. Даже благотворительность – а уж, казалось бы, что проще благотворительности в нашем мире! – встречается с подозрительностью, завистью, тайным устойчивым недоброжелательством. «Он – другой!» – и этим, на первый взгляд, объясняются многие, почти все, подобные истории. Но не

все так просто – универсальный сюжет распадается на несколько локальных.

Здесь меня интересует российский. В России – несмотря на долгую традицию отказа от мяса, несмотря на учение Льва Толстого (не говоря уже о суровых православных постах) – к вегетарианству относятся довольно скверно. И у этого недоброжелательства, даже страха, есть вполне определенная причина – страшная история голодов конца XIX – первой половины XX века. И, конечно, бедная, тяжелая жизнь подавляющей части населения страны до относительно недавнего времени. Все это поднимает символическую ценность еды вообще – и особенно еды жирной, изобильной, мясной, то есть той, что была десятилетия и столетия многим недоступна. Память об этом – рискну использовать очень банальное и не совсем понятное самому мне выражение – существует на генетическом уровне. Оттого тот, кто отказывается от простых, «вкусных», питательных продуктов, которыми были обделены наши родители, бабушки, дедушки и т. д., делает – при всех высоких помыслах его – что-то странное, враждебное, неуважительное. Такое отношение обычно не рефлексируется, но оно составляет эмоциональный фон, на котором разыгрываются драмы уже других уровней.

Прежде всего это уровень социальной зависти. Веганство/вегетарианство воспринимается как причуда богатых избалованных людей, которым нечем больше заняться. Отвратительная советская и постсоветская формула «Эх, нам бы ваши проблемы!» определяет, в частности, и этот сюжет. У «нас» – тяжкая, безрадостная жизнь, борьба за выживание, труд, пот, страдание и т. д. У «них» – надуманные абстрактные проблемы, лишенные всякой связи с «жизнью» и, конечно же, с «нами». «Наше» главнее «чужого» – ибо наши страдания по́длиннее, наша жизнь тяжелее. Соответственно, в этом чемпионате по невыносимой тяжести жизни мы – чемпионы. Оттого только мы раздаем знаки подлинности. Веганам/вегетарианцам таких знаков не получить – разве что они как-то обоснуют (в наших понятиях, конечно) необходимость, включенность их причуд в наше страдание. Скажем, если веган заявит, что избегает животных продуктов по медицинским соображениям, никто особенно ругаться не будет. Он страдает, оттого он настоящий, соответственно, ему можно. Конечно, это покровительственная позиция, ставящая чудака в положение «больного», «неполноценного», которого надо пожалеть. Особый случай, если человек отказывается от животных продуктов питания по религиозным соображениям. Тогда вопросов к нему вообще нет – ведь он таким образом включает себя в большое коллективное

тело верующих. А вот веган-индивидуалист подозрителен, ибо он действует по своей воле, в его личные мотивы не верят, считая их каким-то вздором. Но если в дело замешана религия – то есть нечто непонятное, общее, но в целом хорошее – тогда да, дело важное и нужное.

Собственно, здесь, в этой комбинации разных причин и разных уровней, и лежит ответ на мой вопрос. Раздражение по отношению к вегану/вегетарианцу возникает почти из всех обстоятельств жизни постсоветского человека – от смутной персональной памяти через осознание себя в качестве результата долгой, полной страданий и голода истории к нынешней отчаянной социальной ситуации, зависти в отношении и тех, кто богаче тебя и находится рядом с тобой, и тех, кто вообще живет где-то там, на «Западе». Плюс общее недовольство актами персонального выбора, который, по идее, открыт и для «обычного невегетарианца», но так как он его не сделал, этот акт становится для невегетарианца этически невыносимым. Так мы от первого уровня добрались до последнего, глубокого, который внезапно оказался основанием для того, что происходит на поверхности, на первом, якобы «универсальном» уровне.

Это, конечно, только беглые наброски к серьезному разговору, ничего больше. Но важно зафиксировать одну вещь – мы действительно говорим о сентименте, который объединяет постсоветское общество вне зависимости от политических взглядов, эстетических пристрастий и даже социального статуса. Такая мысль выводит нас уже за пределы разговора о еде в иные области – туда, где можно попытаться понять, как устроен мир, который когда-то звался СССР. И наконец-то осознать, сколь страшную катастрофу устроили сами для себя населявшие эту территорию люди.

Глава II
Новые истории о старой и новой истории

Лишние люди

Московская операция по уничтожению ларьков и прочего мелкого бизнеса вокруг станций метро (началась в конце зимы 2016 года) была бы невозможна, не существуй в сознании власти (а также немалой части населения) определенных представлений о настоящем, подлинном образе собственной страны и ее прошлого. Любопытно, что такого рода представления – часть из них, не все конечно, – пережили революцию, Ленина, Сталина, Брежнева, постсоветский период, чтобы сейчас воскреснуть как ни в чем не бывало. Они восходят к эпохе Николая Первого к его страстью к фрунту, к ранжиру, к идеальному иерархическому порядку, к пустоте наконец. Идеальный город по Николаю Первому – это безлюдный город дворцов, казарм, министерств и содержащихся в идеальном порядке жилых домов. Передвигаться по такому городу лучше, имея какую-то важную или полезную цель, а вот просто так болтаться без дела – подозрительно. С архитектурной точки зрения идеальным городом для Николая Первого являлся холодный геометрически-совершенный Петербург, а не похожая на большую деревню Москва.

Идея благодетельной пустоты была развита в царствование Александра Третьего – только тогда к безлюдью и тотальному порядку прибавилась метафора холода, мороза, льда. Известный литератор и публицист консервативного толка Константин Леонтьев утверждал, что Россия подгнила и во избежание дальнейшей вони и разложения следует ее подморозить. Гниение в этой метафоре – реформы Александра Второго, приведшие к формированию нового типа российского общества. Ну а подмораживать обязана власть, конечно. Все живое должно замереть, окоченев, превратившись в ледяную скульптуру. Константин Леонтьев был изрядный эстет.

Другая ледяная формула принадлежит уже официальному лицу, обер-прокурору Синода Константину Победоносцеву. Этот ультраконсервативный начетчик, обладавший скрипучим проницательным умом (говорят, что Андрей Белый вывел его в романе «Петербург» в виде Аблеухова-старшего, зловещего и трогательного бюрократа, страдавшего из-за невозможности устроить русскую жизнь согласно циркулярам), выдал знаменитую формулу: Россия – ледяная пустыня, по которой гуляет лихой человек. Образ блестящий – и очень сильный. Но если вдуматься, то возникает несколько вопросов. Первый: была ли Россия «ледяной пустыней» всегда, либо мы имеем дело с результатом деятельности власти, внявшей призыву Константина

Леонтьева? Второй: всегда ли по этой пустыне «гуляет» лихой человек? Победоносцев, безусловно, позаимствовал опасного бродягу из пушкинской «Капитанской дочки», его лихой человек – это Пугачев. Но если так, то лихой человек шалит в ледяной (на самом деле занесенной метелью) пустыне всегда. Соответственно, и ледяная пустыня была всегда – и тут ни при чем ни Александр Третий с его антиреформами, ни эстет Константин Леонтьев. Перед нами исключительно пессимистический взгляд на Россию – она лишена истории, в ней никогда ничего не происходит, типично русским признается ледяное безлюдье и слегка оживляющий мертвый вид опасный бездельник.

В этом – и только этом – смысле консервативные, традиционалистские представления российской власти (и людей, ее поддерживающих) конца XIX века ожили сегодня. Взгляд путинского режима на управляемый им народ именно что пессимистический, безнадежный. Любые проявления деятельности, любая активность, любое движение есть непорядок и, в конце концов, зло. Ведь все равно ничего хорошего из этого движения не выйдет, так что лучше представить, что мы в ледяной пустыне, но только без лихого человека. А на льду можно сыграть в хоккей. Чудовищно опошляя без разбора почти все известные метафоры русской истории и культуры, нынешняя власть не пощадила и эту. У Победоносцева – образ чуть ли не с картины Каспара Давида Фридриха, лед, холод и пустота. У нынешней власти – лед, на котором немолодые начальники на тщательно охраняемом стадионе могут постучать клюшками о шайбы.

Ненависть ко всякому движению, ко всякому как бы непорядку, ко всякой инициативе, пусть даже и коммерческого толка (при том что власть воспевает «бизнес» и никакого намека на общество социальной справедливости в России нет), – это ненависть к жизни как таковой, конечно. Страх и ненависть, на самом деле. На большие дома и супермаркеты можно положиться точно так же, как на скульптуры и монументы. А вот на людей не положишься: они в любой момент могут выкинуть бог знает что. Идеальный путинский город – пустое место с долгими широкими проспектами, по которым несутся дорогие авто приближенных к власти людей и иногда – тщательно контролируемый транспорт. Лучше всего сделать его исключительно для пенсионеров. А когда пенсионеры умрут, закрыть и троллейбусы с автобусами. Маршрутки же следует запретить немедленно – они портят вид и создают хаос. В таком городе не предусмотрены магазинчики и маленькие кафе, только торговые центры и большие сетевые рестораны. Рынки стоило бы вообще запретить, как рассадники

неединообразия, но пока это сложновато – так что лучше убрать их подальше, с глаз долой. Именно такую победу смерти над жизнью имел в виду президент Путин, воскликнув при виде очередной госстройки или чего-то такого про балет или хоккей: «Шикарно, как все у нас на Руси!» Конечно, ни Александр Третий, ни Константин Победоносцев такую постыдную, мещанскую, канареечную лексику не используют: «шикарно» – это вокабулярий Эллочки-людоедки, а «Русь» – это из шевкуновских нашептываний на ушко президенту. Но если отвлечься от забавного социокультурного контекста, то мы увидим, что месседж все тот же. «Шикарно», то есть «хорошо», «правильно», – это то, что построено под заботливым оком начальства, предназначено для одобренных властью развлечений подданных и по возможности не мозолит глаз ненужным мельтешением на улицах.

Подобная любовь к безлюдью, к домам, машинам, монументам, этот страх перед людьми и недоверие к свойственному жизни беспорядку имеют не только сегодняшнее приложение, вроде жалкой столичной войны с ларьками. Ретроспективный взгляд, представления о прошлом – если говорить о нынешнем режиме, включающем, безусловно, тех, кто его поддерживает, – абсолютно тот же самый. За десять дней до ввода экскаваторов в Москву я был в Петербурге и обратил внимание на социальную рекламу, точнее наглядную агитацию типично постсоветского образца. Как и все подобные вещи, она бессмысленна, ибо ратует за все хорошее против всего плохого. Но в случае рекламных щитов, которые я увидел на остановке на Невском проспекте, «всего плохого» не было. Зато было много «хорошего».

Плакат (на самом деле серия плакатов, я их потом обнаружил в разных местах) содержал слоган «Познавать историю своей страны – понимать свой народ». Высказывание вроде бы банальное, банальнее некуда, из разряда громких тавтологий о пользе истории, которые то ли сказали великие, то ли им их приписывают; самый яркий пример – высказывание о прошлом, которое, если выстрелить в него из пистолета, откроет ответный артиллерийский огонь. До знаменитой брежневской тавтологии «Экономика должна быть экономной» питерский слоган не дотягивал, и можно было бы спокойно пройти мимо, но я обратил внимание на сопровождающий лозунг рисунок. Рисунок призван изображать «историю своей страны». «История» представляла собой толстый том, раскрытый примерно в середине. Обрез страниц первой половины – нейтрального белого цвета, второй – выкрашен в остальные два цвета российского флага. Та часть, что

уже пролистана – «белая», – символизирует историю до 1917 года. В ней, будто в детской книге со встающими при открывании фигурками, мы видим задумчивого древнего воина, явно срисованного с советского набора солдатиков «Ледовое побоище», храм Христа Спасителя, совсем на заднем плане – неявные деревенские избы, а на вставшую на дыбы страничку отважно взбираются два парусных корабля. Иными словами, «история нашей страны» до 1917 года представляет собой советские фильмы «Александр Невский», «Адмирал Ушаков», фантомные реминисценции из той части классической русской литературы XIX века, где про простых «мужиков», ну и из построенного заново Лужковым помпезного храма. Можно оспаривать или не оспаривать именно такую трактовку прошлого России до Октября 1917 года, но одно очевидно – в этой истории практически нет людей. Она безлюдна, пластмассовый солдатик не в счет. Возникает впечатление, что речь здесь идет о некоей древней цивилизации, давным-давно погребенной под грузом тысячелетий, от которой остались только развалины и изображение храмов и орудий убийств.

Но вторая, как бы пока не прочитанная часть книги «Истории нашей страны» еще любопытнее. Солидная часть тома, которую еще только следует открыть. То есть будущее. Но это будущее уже заранее названо «историей», таким образом намекается на то, что грядущее России заключено в ее прошлом – можно даже вперед не заглядывать. Перед нами все тот же исключительно пессимистический взгляд на общество и государство, который демонстрировали традиционалисты и консерваторы конца позапрошлого столетия. Ничего интересного уже не будет никогда, да и не было тоже. А что будет? – спросите вы. А то, что было! – ответят вам. То, что было после 1917 года, здесь же и изображено – и мы обнаруживаем несколько удивительных деталей. Во-первых, тут нет самого́ 1917 года. То есть нет ни Революции, ни Гражданской войны. Более того, срез страниц, как я уже говорил, выкрашен в остальные два цвета российского триколора – получается, что именно под этим флагом свергали и убивали царя, резали глотки друг другу, строили социализм, создавали новое общество и т. д. Кроваво-красное заменили миленьким, почти кислотным красно-синим, который настраивает зрителя на самый благодушный лад. Мол, было только хорошее. Но вот с «хорошим» еще интереснее. Если «белый» период «истории нашей страны» населял хотя бы один человек, пусть даже и пластмассовый, то здесь пусто, безлюдно, как у Чистых прудов после сноса ларьков. Стоят разные монументы. Царапают стеклянное небо башни Кремля.

Олимпийский стадион и какой-то мост (судя по всему, непостроенный еще керченский мост – единственная деталь «будущего») опасно соседствуют с символическим образом атомной энергии. Ну и, так как на странице места не хватило, на обрезе изображена карта страны – любопытно, что нынешняя, РФ плюс Крым – а не СССР, к примеру.

Вот такую историю призывают «познавать», чтобы лучше понимать «свой народ», то есть самих себя. Если приняться за дело серьезно, то познание это приводит к простой мысли: «народ» – точка отсутствия народа. Никакого «народа» нет и быть не может, он только мешает в «русском мире» монументов, стадионов, церквей и странных атомных значков, намекающих на возможность уничтожения всего человечества. К истории, конечно, это не имеет никакого отношения – зато полностью объясняет устройство сознания Московского экскаваторного полка имени К. Победоносцева.

Безумцы и власть: 1836-й и 2016-й

27 января 2016 года художника Петра Павленского, которого обвиняли в вандализме за поджог двери в здании ФСБ на Лубянке, отправили на психиатрическое освидетельствование, вызвав опасения, что вместо «преступника» его объявят «сумасшедшим». В интернете тут же бросились собирать подписи с требованием вернуть дело Павленского хотя бы в видимые обществу юридические рамки. Опасения защитников художника были вполне понятны: пусть и глубоко зависимый от власти, но суд есть суд, он по крайней мере даст возможность Петру Павленскому высказаться; да и вообще небесполезно понаблюдать за тем, как дают уголовный срок за мелкий поджог двери пусть и самого охраняемого здания страны. В любом случае судебный процесс – вещь публичная; а зная безупречное мужество и упорство Павленского, можно было быть уверенным, что он использует это обстоятельство для своего дела. А вот упечь в психушку – значит поместить человека в серую зону, практически закрытую не только от общества и прессы, а даже и от близких. Плюс к этому медицинские учреждения дают широкий простор для манипуляций с психотропными лекарствами, что в обычной русской тюрьме сделать (по крайней мере пока) сложновато. Так что петиция действительно оказалась нужной и своевременной, хотя сложно сказать, повлияла ли она на исход дела. Напомню, 8 июня 2016 года – несмотря на призывы Павленского переквалифицировать его дело по статье «терроризм» – художника мирно приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей плюс выплата ФСБ ущерба за немного обгоревшую дверь. Павленского тут же освободили, и он вернулся к привычной своей жизни. Эта его художественная акция называлась «Угроза».

Те, кто требовал вернуть Павленского из сферы безответственности анонимных врачей в сферу ответственности хотя бы имеющих имена следователей и судей, апеллировали к советскому опыту подавления диссидентского движения. Действительно, тогда в случаях нежелания власти преследовать инакомыслящих с помощью юридической репрессивной машины в ход шла «карательная медицина». Преступления ее известны, так что аналогию выстроить достаточно просто. Список пострадавших от пыточной советской психиатрии длинный, в нем Иосиф Бродский, Наталья Горбаневская, Валерия Новодворская, Леонид Плющ и многие другие. Однако, как мне кажется, эта аналогия затемняет суть дела. Павленского с трудом можно назвать наследником советского диссидентства; он прежде всего

современный художник, который использует «политическое» не просто как тему своего искусства; он скорее делает искусство, на сто процентов состоящее из «политического». Более того, «политическое» берется им как «этическое», причем последнее трактуется как борьба против абсолютного Зла. Павленский – мистик в самом прямом смысле этого слова; его акционистские жесты призваны указать на следующее: современное Российское государство есть воплощение чистого беспримесного Зла, в борьбе с которым художник готов идти до конца. Современная Россия – как, собственно, и историческая Россия – воспринимается им как область окончательной несвободы, о существовании которой население знает, но не желает отдавать себе в этом отчет. Таким образом, Павленский открывает глаза на уже известное – собственно, речь идет о том, чтобы у общества «отверзлись очи». Конкретные же несправедливости, пороки и преступления власти, сколь бы тяжкими и опасными они ни были, вроде агрессии против Украины и т. д., Павленского не очень интересуют. Это частности, симптомы; повышенное внимание к ним затемняет понимание главной драмы, которая разыгрывается на территории бывшего СССР, – драмы наступления Абсолютного, Инфернального Зла. Знаменитое фото Павленского на фоне адского пламени подожженной им двери ФСБ – об этом.

В 2016-м, осенью, исполнилось 180 лет публикации, кажется, самого известного раннего опыта русской исторической рефлексии – первого «Философического письма» Петра Чаадаева. Анонимный перевод французского оригинала этого сочинения, изобилующий неточностями и сокращениями, был напечатан в 15-м номере московского журнала «Телескоп». Вспыхнул сильнейший скандал, который увенчался известной резолюцией главного читателя, цензора и блюстителя смыслов в тогдашней России, Николая Первого: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной – смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного». За дерзкую бессмыслицу поплатились все причастные к публикации: журнал закрыли, цензора, пропустившего «Философическое письмо» в печать, уволили, издателя «Телескопа» Николая Надеждина сослали в Усть-Сысольск (ненадолго), а самого автора объявили сумасшедшим. По распоряжению властей Чаадаев находился под нестрогим домашним арестом, ежедневно к нему являлся доктор для освидетельствования. Через какое-то время от услуг медика отказались, но история, конечно же, не забылась. Чаадаев даже написал «Апологию сумасшедшего», которую, впрочем, при жизни отдать в печать не рискнул; этот странный, неспокойный,

взвинченный текст был опубликован лишь в начале XX века. В сущности, сочинив «Апологию», Чаадаев нарушил запрет: в 1837 году, «снимая» высочайший психиатрический диагноз, ему поставили условие «ничего не писать». Впрочем, Чаадаев писал немного, предпочитая говорить. Он был блестящим рассказчиком, собеседником и особенно проповедником. В московском обществе его считали первым, а слава безумца нисколько не мешала уважению – и даже поклонению – окружающих, прежде всего дам.

История Чаадаева известна, о ней написано немало, а его «Философическим письмам» посвящены десятки книг и сотни статей. Тем не менее этот сюжет истории русской мысли – да и просто русской истории – довольно странный. Достаточно внимательно, как бы заново, прочесть наделавшее столько шуму первое философическое письмо. Специалисты давно отметили, что Чаадаев выступает здесь как последователь европейских мыслителей охранительного, консервативного, традиционалистского толка, как сказали бы в прошлом веке – «реакционного». В духовных отцах Чаадаева – отчаянный элитист Жозеф де Местр, автор «Апологии христианства» Франсуа де Шатобриан, тихий контрреволюционер Пьер Симон Балланш и, конечно же, Фридрих Шеллинг (с ним Чаадаев переписывался). Это все авторы, далекие от «прогрессивных» идей, не говоря уже о «революционных». В каком-то смысле все они – политические союзники николаевской России в самом ее унылом изводе. Однако составленное русским отставным гусарским офицером на французском изложение их взглядов применительно к некоторым моментам современности, будучи опубликовано в московском журнале, вызвало у Николая ярость, а у его приближенных – состояние, близкое к панике.

Второе странное обстоятельство: чаадаевские «Письма» к 1836 году читали многие – и в Москве, и в Петербурге. Тексты ходили в списках, Чаадаев показывал их своим друзьям и знакомым, «Письма» обсуждали, но особенно резких мнений не было. В 1836 году после бешеной реакции власти у многих будто глаза открылись – и на Чаадаева посыпались удары с разных сторон. Тут вот что важно: речь не идет о желании выслужиться или страхе попасть в список «подозрительных» – оскорбленное несогласие высказывалось Чаадаеву в частных письмах, так что авторам их если и хотелось доказать собственную благонадежность, то рассчитывать приходилось лишь на не очень культурных полицейских чиновников, занимавшихся люстрацией русского эпистолярия. Получилось так, что самые возмутительные вещи, высказанные в «Философическом письме» (их вообще-то целых восемь, а напечатали в несчастном

«Телескопе» только первое), при первом прочтении в глаза не бросились. Если так, то А.Х. Бенкендорф, Ф.Ф. Вигель, митрополит Серафим и сам царь Николай, впервые ознакомившиеся с чаадаевским текстом уже в опубликованном виде в 1836 году, оказались гораздо более тонкими читателями, нежели просвещенные завсегдатаи аристократических и литературных салонов Москвы и Петербурга.

Но самая большая странность вот в чем. Даже первое «Философическое письмо», не говоря уже о других, вовсе не является ни публицистикой, ни политическим трактатом. Это текст глубоко религиозный, написанный с христианских позиций автором, убежденным в особой благодетельности теократии. Более того, это действительно *частное письмо*, адресованное даме, и в начале его говорится о необходимости смирения, следования церковным предписаниям и поддержания в надлежащем порядке не только души, но и тела. Собственно, все дерзкие пассажи, из-за которых и вышел сыр-бор, были следствием этого совета, его, так сказать, обоснованием.

Содержание чаадаевского шедевра известно, позволю себе лишь напомнить, что рассуждение о пустоте русской жизни, ее необустроенности, о том, что русские ничего не внесли порядочного в копилку европейской жизни, о том, что беда русской истории, полностью отделенной от «общего европейского движения», усугубилась схизмой католиков и православных, все это – включая столь поразившие власти пассажи о явном преимуществе папства над Русской православной церковью – вытекало из простого рассуждения о том, что повседневная жизнь русского человека отмечена неустроенностью и все то, что европейцам в быту дается как бы «по умолчанию», здесь приходится делать с нуля и самому.

«Очевидные вещи», – скажет любой знающий устройство русской жизни как в XIX веке, так и в начале XXI. Именно. Чаадаев – христианский мистик, а не обличитель, он не критике подверг жизнь собственного общества (а, например, князь П.А. Вяземский вообще счел это сочинение сатирой), он просто констатировал, что дела обстоят таким образом. Для подобного рода констатации нужно особое мужество, гораздо большее, чем для изобретения блестящих новых вещей или совершения сногсшибательных открытий. Более того, чтобы оценить «повседневность», следует обладать особым зрением и отодвинуться на определенную дистанцию от так называемой «жизни». Странный денди Чаадаев, с его тайным католицизмом, с его несколько тщеславной страстью проповедовать, с его французским языком, на котором он писал гораздо лучше, чем на

русском, – он для того, чтобы увидеть очевидное, оказался гораздо более подходящим, чем по уши погруженные в заботы русской жизни его приятели Пушкин, Вяземский, Боратынский и др. Отсюда же и единодушный вопль негодования, исторгнутый публикацией «Философического письма», – люди обычно приходят в ярость, когда им указывают не на новое, а на известное, по крайней мере – на то, что они подозревали, но не рисковали сказать. И смельчака, который это делает, как раз легче и естественнее всего объявить безумцем, ибо он покусился на ментальные основания общества.

В этом – и только в этом, конечно, – сходятся Чаадаев и Павленский. И тот и другой совершили мощнейшие культурные жесты, которые выглядели политическими, но по сути были этическими, чуть ли не религиозными даже. Оба исходили из полной убежденности в том, что есть нечто исключительно важное в устройстве жизни в России, что необходимо в данный момент продемонстрировать – несмотря ни на что и самым прямым, недвусмысленным образом. Обоих назвали безумцами – точнее, попытались назвать. Все остальное, конечно, разное, ибо никаких аналогий в истории не бывает. Настолько же разное, насколько отличаются друг от друга условия жизни в частном чаадаевском доме на Басманной и в постсоветской психиатрической клинике.

Все вышесказанное, конечно, не означает, что те вещи, которые в 1836 году или в 2016-м казались очевидными в отношении российского общества, власти, жизни, истории и т. д., на самом деле являются таковыми. Главное, чтобы интеллектуально активная часть общества воспринимала их подобным образом. Это как бы взгляд «изнутри». С точки же зрения историка, построения Чаадаева являются примером типично романтической концепции истории, а воззрения Павленского – результатом «холодной гражданской войны» в современной России. Но наш текст – о другом, он о законченных и почти безупречных этических жестах, которые вызывают схожие реакции двух – совсем разных по существу – исторических форм власти.

Новые любители исторической правды

История с переходом в российских школах на так называемые «единые учебники по истории» довольно активно развивалась в течение лета 2016 года – причем происходило это в двух параллельных реальностях. Первая реальность – школьная жизнь, в которой эти учебники (официально говорили о трех) 1 сентября 2016-го если и появились, то далеко не везде. Есть еще так называемый «единый историко-культурный стандарт» – методический документ; ему, по идее, должны соответствовать школьные курсы и учебники. Стандарт, как это было и раньше, представляет собой гигантский пестрый набор самых разнообразных фактов, перемешанных с концепциями, все в одной плоскости; в него составители, движимые самыми разными соображениями (учителя – одними, академические историки – другими, методисты – третьими), буквально запихнули все, что, как им кажется, должно там быть. В результате получилась знакомая вещь – некий перечень, в котором, в буквальном смысле, есть «всё» – но только это «всё» представляет собой смесь советских и постсоветских представлений о прошлом и о том, что школьники должны об этом знать. Надо сказать, что при всей бесформенности этот «стандарт» играет отчасти положительную роль, главное – правильно его использовать. Учителя истории, из тех, кто действительно разрабатывает свои авторские курсы, могут на него положиться – любые сюжеты, которые им хотелось бы разобрать с учениками, в этом стандарте так или иначе можно найти. Значит, всегда можно сослаться на «официальный документ». Это важно, учитывая общую крайне неблагоприятную для серьезного изучения истории в школе, общественную бюрократическую и даже педагогическую атмосферу в стране.

Но вот с учебниками дело обстояло совсем не так, как уверяли власти летом 2016-го. Действительно, как утверждалось, формально есть три учебника по истории России, которые написаны, изданы и разрешены к использованию. Мы не будем здесь разбирать их достоинства и недостатки; однако мимо одного важного факта не пройти. Дело в том, что учебников этих в школах очень мало; более того, сам разговор о «едином учебнике по истории» бессмысленен, он лишь затемняет тот важнейший факт, что учебников должно быть не два или три, а более трех десятков, если вспомнить общее количество школьных курсов истории. История России не изучается в течение одного учебного года, это не один, а несколько учебников, даже если представить себе такую неприятную возможность, что каждый из

таких учебников может быть написан один и альтернатив у него не будет. Дальше – больше. Не забудем: помимо истории России, есть история и всего остального мира. История Древнего мира. История Средних веков. Новая история (первая и вторая части). Новейшая история (первая и вторая части). Плюс к этому добавим и совершенно необходимые курсы местной, локальной истории, то, что называлось раньше «краеведением». Наконец, в национальных республиках Российской Федерации и в национальных округах должны быть учебники, посвященные истории титульных народов, эти территории населяющих. Иными словами, это далеко не «один единый учебник», как утверждают госчиновники и как считают люди, не имеющие представления о преподавании истории в школе.

Еще одно обстоятельство, которое обычно упускают в разговорах про «единый учебник по истории». Его сложно, почти невозможно ввести сразу. Учебники и курсы по истории для разных классов непременно должны быть между собой связаны, так что дико даже представить, что, к примеру, выпускают новый учебник по истории Средних веков, где принята концепция, согласно которой этот период европейского прошлого заканчивается XV веком, этапом, который великий Йохан Хейзинга назвал «осенью Средневековья». Такая точка зрения в современной историографии (по крайней мере самой ее передовой части) очень популярна. И вот вообразим: этот курс и учебник ввели, а курс и учебник по «истории Нового времени» остался, к примеру, старым, который исходит из еще марксистской схемы – «Новое время» начинается с «буржуазных революций», первой из которых считается освободительная война Нидерландов против испанского господства. Если дело обстоит именно так, то в хронологическую и смысловую пропасть между двумя учебниками проваливается почти весь XVI век, Ренессанс, Реформация, Великие географические открытия, религиозные войны – то есть один из главных периодов европейской, западной, всеобщей истории, без которого нынешний мир выглядел бы совсем по-иному.

Получается, что вводить новые учебники можно лишь постепенно, в течение как минимум семи лет, уже сейчас имея на руках все свежие пособия, методические разработки, курсы, которые обсудили специалисты сразу из трех областей (учителя истории, академические историки, методисты-педагоги) и представители родительского сообщества – и на которых мнения их сошлись. Гигантская, сложная, долгая работа, которая, помимо всего прочего, требует немалых финансовых затрат. Зададим простой вопрос – проделана ли на сегодняшний день эта работа?

Ответ очевиден – нет.

Тем не менее все лето 2016 года шли разговоры о том, что в «новый учебный год российские школьники вступят с новым единым учебником по истории». Особенность этих разговоров для внимательного наблюдателя заключалась в их какой-то странной неопределенности. Вслед за бодрым газетным заголовком, где рапортовалось о вступлении в новый год с новым единым пособием, обычно говорилось, что, мол, «разработан единый стандарт», а учебники будут вводиться по мере сил и возможностей. Более того, некоторые из участников процесса создания «стандарта» выражали недоумение по поводу неподготовленности и спешки; самым любопытным мне показался вопрос о том, чем же будут теперь заниматься ученики 11-го класса – ведь согласно новым правилам историю заканчивают изучать в 10-м. Впрочем, все это не занимало ни чиновников, ни журналистов официозных медиа; кстати говоря, отметим почти полное молчание, которым сюжет о «едином учебнике» встретила пресса, так сказать, «демократическая», «либеральная». Если в специальных изданиях и писали кое-что об этом, а некоторые специалисты высказывали в социальных сетях недовольство как новым стандартом, так и новыми пособиями, то вот в мейнстримных либерально-демократических, оппозиционных медиа обо всем этом практически не говорили. В конце концов возникло впечатление, что история с «единым учебником по истории» нужна довольно узкому кругу людей, находящихся во власти (и около нее) для решения собственных задач. Остальным новые стандарты и пособия, как и вообще опасная необходимость упорядочить, унифицировать школьные представления о прошлом, вроде бы совсем ни к чему. Казалось, что может быть важнее школьного образования, представлений о прошлом, особенно учитывая все нынешние баталии вокруг истории (и даже всеобщую одержимость ей), но нет, ничего подобного. Это обстоятельство кажется мне самым загадочным в сюжете о «едином учебнике».

Странность нарастала с каждым месяцем; неуверенный тон и постепенное исчезновение победных интонаций можно было уловить даже в речах главных инициаторов кампании за единообразие представлений о прошлом. 18 февраля в официальной «Российской газете» появилась статья министра культуры Мединского[6]. Мединский, казалось бы, прямого отношения к школьному курсу истории (как и к курсу физики) не имеет, однако он претендует на звание главного пропагандиста и идеолога нынешней власти. О том, что министр сам себя считает профессиональным историком (мнение это, увы, не разделяет

академическое сообщество), мы уже говорили выше. В любом случае Мединский уверен, что уж он-то историю знает, любит, особенно историю России, и, как истинный патриот, готов проповедовать истинную патриотическую историю Отечества, воспитывая поколение за поколением россиян. Так что, читая заголовок его статьи – «Есть ли у правды версии?», – уже заранее догадываешься о содержании этого текста. Однако подзаголовок – «Трудные вопросы в учебнике истории не должны подменяться лозунгами» – ставит в недоумение. Ведь именно этот автор еще недавно уверял публично, что историческими фактами являются лишь таковые, которые хорошо укладываются в патриотическую концепцию прошлого, прочие же – от лукавого. Более того, осенью 2015 года Мединский позволил себе совершенно хамскую выходку в адрес руководителя Государственного архива РФ Сергея Мироненко, который напомнил ему и публике, что никаких «28 панфиловцев» не было, их придумала сталинская пресса и пропаганда. Ярость Мединского в той ситуации понять можно – ведь буквально накануне были выделены немалые бюджетные деньги на съемку патриотического блокбастера о тех самых панфиловцах… То есть получалось, что государство платит за фильм о выдумке, мифе, уловке пропагандиста. Так или иначе, министр Мединский никогда не отличался приверженностью к «фактам» в ущерб «лозунгам». И тут вдруг вот такое.

Чтение статьи министра в «Российской газете» – занятие любопытное. Прежде всего, если представить, что он сам сочинил этот текст, а не доверил его спичрайтерам, перед нами довольно сумбурное, вялое и скверно исполненное сочинение. Речь чиновника грустна и отрывиста, в ней нет обычного задора Мединского-идеолога. Такое впечатление, что, взяв самую высокую ноту в начале статьи, дальше министр уже не знает, что же ему делать с сюжетом; к тому же заметна осторожность, с которой он трактует свою излюбленную тему. Вот как звучит эта высокая нота: «Это важный первый шаг к преодолению унаследованной из 90-х годов нелепой интеллектуальной междоусобицы, бессмысленного “разнообразия” точек зрения на историю страны и навязчивых идеологизированных толкований главных ее событий». Тема единообразия и «нелепости» разнообразия точек зрения на историю – любимая у министра, он не раз высказывался в этом духе. Критиковать его подход легко – на самом деле в любом зрелом обществе «точек зрения на историю» всегда множество, по-иному и быть не может, учитывая пестрый социальный, этнический и религиозный состав современных государств. Нет «единой точки зрения» на историю в США, во Франции и уж тем более в Британии. Она – касательно

относительно короткого периода – есть в Германии. Но этот короткий период – правление Гитлера, которое привело к национальной катастрофе. Более того, в каком-то смысле даже это единство ретроспективного зрения навязано силой – Германия потерпела поражение в войне и была оккупирована; именно так началась денацификация и работа с травматическим прошлым. Вряд ли Мединский с его возвышенными представлениями об истории, нации, о культуре и прочем мечтает о таком единстве.

Мысль министра примитивна: надо всех одинаково выучить в школе истории, чтобы потом, став взрослыми, бывшие школьники воспроизводили ту же самую схему. Тогда власть – Мединский воспринимает «власть» в России как нечто вечное, а значит, а-историческое – будет вне угроз; ведь все прошлое страны сводится к истории государства, которое, пусть и не без мелких неприятностей, укреплялось-укреплялось, пока не достигло своего высшего развития, своего акме в конкретный нынешний период. Ради такой концепции Мединский всегда был готов отбрасывать, забывать, перевирать факты. Соответственно, главным врагом подобной «единой истории» становятся не только настоящие историки, упрямо бубнящие о том, что вот это было так, а вот это не так, а про это мы вообще ничего не знаем; в разряд врагов попадают те, кто трактует прошлое исходя из иных идеологических, политических и прочих соображений. Здесь, как мне кажется, разгадка столь нетипичного для министра Мединского подзаголовка статьи – да и странного тона самого этого текста.

Действительно, в данном случае Мединский пытается выступать в качестве защитника исторической объективности от «идеологов» и «пропагандистов». Задача нелегкая, учитывая то, что сам он никакой не историк, а именно пропагандист и – введем в оборот новый термин – «пиар-идеолог». Защищать «факты» от «мнений» для него трудновато; впрочем, министр никогда не рисковал вступать в дискуссию, он, как и вся нынешняя российская власть, умеет работать только в режиме монолога, да еще и транслируемого самым монологическим образом, посредством официальных или провластных медиа. Но даже здесь, в вицмундирной «Российской газете», Мединскому несколько неловко, он чувствует себя как бы не в своей тарелке, ибо говорить приходится ровно обратное тому, что он привык.

Тут самое время пояснить, с какими «идеологами», с какими «лозунгами» он тут борется. Ответ простой – со всеми, кроме тех, которые нужны власти в данный момент. Любая интерпретация истории, самая что ни на есть концептуально-выверенная, вроде

марксистской или даже «народнической», вызовет его беспокойство. Действительно, «классовая борьба» – прямая опасность для государства, хоть в XIX веке, хоть в XXI, точно так же абсолютно враждебна мединской историографии сама идея социальной справедливости. Российское государство – за исключением советского периода, пусть даже формально – идеи социальной справедливости всегда боялось, ненавидело, а разговор о реальных проблемах, правах и обязанностях разных классов и сословий подменяло чугунной державной риторикой. Отметим еще одно пока не очень заметное обстоятельство. Статья Мединского «против идеологических лозунгов в школьном курсе истории» имела еще одну цель, пока довольно отдаленную. В 2017-м – сто лет Октябрьской революции. Российская власть пока еще не решила для себя, как к этому относиться, каких историко-юбилейных опасностей избежать, какие пропагандистские выгоды поиметь. С одной стороны, 1917 год – разрушение столь любезной Российской империи, «России, которую мы потеряли», позорный сепаратный мир с Германией, Гражданская война, убийство царя и все такое. Праздновать особенно нечего. С другой – историческое тщеславие не дает вот просто так распрощаться с единственным событием действительно мирового значения, которое произошло в России в прошлом столетии (не считая победы во Второй мировой, конечно). Такими вещами опытные пиарщики не разбрасываются. Не забудем и культ всего советского, который как бы нехотя исповедует путинский режим; он тоже не дает возможности проклясть Ленина и товарищей. Но ведь нет ничего более враждебного для Путина с Мединским, чем дух 1917 года, энтузиазм строителей коммунизма, утопические 1920-е и т. д. В общем, статья Мединского намекает на то, как, судя по всему, будет решать «проблему 1917-го» власть – факты и только факты! Никаких славословий, никаких проклятий! Главное, что потом в конце концов примирились белые и красные, обнялись под скипетром державной новорусской стабильности. Именно так путинский режим будет изображать из себя разрешителя всех тяжких вопросов русской истории.

Столь же невыносим для Мединского и любой другой интерпретационный подход к истории. Не зря же в статье он вдруг принимается говорить уже совсем странные, даже диковатые вещи: «Мое предложение – не прекращать работу научного сообщества над историко-культурным стандартом: в частности, в перспективе разработать и ввести в него канон истории народов России. Нет ли противоречия между понятиями “канон” и “самостоятельное мышление”? Нет. В моем понимании базовый ценностный подход к формированию исторического

канона – это в первую очередь научность и достоверность сведений, которые изложены в школьных учебниках истории. Это несложно – даже по отношению к самым неоднозначным периодам нашей истории. Тем самым, которые в историко-культурном стандарте честно названы “трудными вопросами”. И, кстати, именно научность и достоверность существенно снижают, на мой взгляд, накал “неоднозначности”». Понятно, о ком и о чем идет речь, – до блестящей идеи Мединского о «самостоятельном каноне» немало историков и методистов сломало голову, пытаясь как-то примирить, к примеру, главы учебника о «монголо-татарском нашествии», «золотоордынском иге» и победные реляции с Куликова поля (сомнительные с точки зрения как раз «фактов») с фактом нахождения Республики Татарстан (а также Республики Башкортостан) в составе Российской Федерации. Взятие Казани и разгром Астраханского ханства также с этой точки зрения выглядят несколько скандальными. Если перенестись южнее, то завоевание Кавказа в XIX веке также сложно объяснить исходя из некоей «одной точки зрения» – тут есть победители и побежденные, я бы даже сказал, колонизаторы и жертвы. Чтобы примирить все это, чтобы как-то объяснить школьнику «без политики» и «без идеологии», нужно занять ту позицию, которую Мединский и его соратники никогда не займут, ибо такая позиция воплощает для него все самое подрывное и даже отвратительное. Это позиция исторического антрополога, недержавного историка, позиция человека, который изучает жизнь людей и общества, а не воспевает процесс возведения государственных пирамид. Наконец, эта позиция неизбежно будет носить моральный характер – иначе невозможно, к примеру, рассказывать об относительно недавней истории сталинских репрессий.

Мединский же хочет, чтобы о преступлениях сталинизма (и советской власти вообще) говорилось сухо и исключительно фактологически, мол, убили столько-то и убили оттого-то: «Вот один из таких “трудных вопросов” – сталинские репрессии. В распоряжении науки имеется более чем достаточно достоверных данных: причины репрессий, их политическое и юридическое обоснование, контекст конкретных обстоятельств данной эпохи, количество арестованных, количество приговоренных к казни…» Любопытно, что здесь наш любитель фактов выдает себя – ни один человек, который хотя бы понаслышке знает о сталинских репрессиях, не станет полагаться на официальные цифры официальных смертных приговоров. Все знают эти эвфемизмы, которыми пользовались палачи, чтобы скрыть размах убийств. Но и это не самое важное здесь. Отказывая в моральной оценке

чудовищных десятилетий советского периода, Мединский фактически списывает их как давно прошедшую историю, которая не имеет уже никакого к нам отношения. Мол, убили и убили, время было такое. Чингисхан тоже убивал. И Наполеон. Однако особенность произошедшего в СССР с двадцатых годов по вторую половину восьмидесятых в том, что это история незаконченная – до тех пор, пока потомки как убийц, так и убитых не придут к определенному консенсусу именно морального свойства. И консенсус этот неизбежно того же свойства, как и немецкий консенсус по поводу нацизма. Иначе сталинизм в сознании общества никогда не закончится.

Но вернемся к «канону истории народов России». Если говорить серьезно, такой канон невозможен – за одним исключением. Это исключение Мединский и имеет в виду, хотя прямо назвать его пока не рискует. Речь не о «каноне», конечно, а о своего рода «рамочках», куда можно засунуть разные национальные истории народов России, не особенно даже заботясь об их содержании. Эта рамочка – Держава, Государство, Империя. История каждого народа таким образом будет делиться на две части – «до того», как она попала в рамочки, и «после». «До» – как бы недоистория, ибо, несмотря на самые блестящие достижения того или иного племени, оно еще не дозрело, чтобы стать объектом Российской Истории. «После» – это уже настоящая история под благосклонным взглядом старшего брата и отеческой власти. Какие бы мерзости в отношении данного конкретного народа ни творили старший брат и отеческая власть, они все равно не идут ни в какое сравнение со счастием принадлежать Державе, иметь общие с ней беды и победы. Ничего нового в этом «каноне» нет – его можно обнаружить и в русской историографии XIX века, и даже в сталинских и послесталинских учебниках. Только там «народов», по понятным причинам, было больше. И на месте Мединского я бы задумался вот о чем: не стал ли этот самый «национальный канон» одной из главных причин того, что «младших братьев Москвы» в последние 25 лет стало значительно меньше?

У «правды» версий, конечно, нет, хотя помпезное слово «правда» здесь несколько смущает. Есть «исторические факты», которые мы никогда бы не смогли обнаружить, не возникни у нас версии по поводу прошлого. Генрих Шлиман имел версию по поводу Троянской войны и местонахождения Трои. Следуя этой версии, он начал копать – и обнаружил совсем другое поселение. Но те, кто понял и ошибку Шлимана, и итоговую правоту его версии, – настоящую Трою нашли. Дети, которых будут учить по канонам и единым учебникам Мединского, шансов найти свою

Трою не имеют. Впрочем, идеологические покушения нынешней российской власти в отношении прошлого вряд ли увенчаются успехом. Бывшие пиарщики – плохие идеологи. Они даже нормальных идеологически выверенных учебников не в состоянии написать – только разглагольствовать о них на безопасном расстоянии от оппонента способны.

Tabula rasa почета

Несколько лет назад, проезжая мимо Автомобильного завода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде, я обнаружил, что вдоль дороги опять появилась наглядная агитация. Раньше, в семидесятых, на больших щитах висели либо лозунги за мир/коммунизм и против войны/мирового империализма, что вполне логично и понятно. Потом, в девяностых, по очевидным причинам все это растворилось без остатка – коммунизм исчез как образ будущего, холодная мировая война кончилась, уступив небольшим, но кровавым «горячим войнам», а что касается империализма, то пройдет всего несколько лет после конца СССР, как в России заговорят об «империи», а соседи – о «возрождении русского империализма».

Но, что гораздо важнее, в семидесятых вдоль ГАЗа висели еще портреты передовиков производства и заводских начальников разных уровней. Именно их фото и имена с перечислениями регалий, профессий и подвигов делали относительно вещественными и даже содержательными лозунги за все идеологически хорошее и против всего идеологически плохого. Если «мы» строим коммунизм, по ходу дела борясь за мир, то вот эти люди среди нас – лучшие строители коммунизма. Их деятельность у станков и чертежных досок не является частным занятием, наоборот, труд этих трудящихся вливается в труд остальных советских трудящихся, который совершается не ради прибыли или каких бы то ни было иных низменных целей. Эти люди действительно своими руками строят коммунизм (или, уже согласно осторожной позднебрежневской терминологии, «совершенствуют развитой социализм»), участвуют в общем деле, так что их производственные успехи есть общественное достояние. Они рядовые-герои и офицеры-герои Армии Строительства Общего Счастливого Будущего, соответственно, портреты героев вполне логично увидеть в специально отведенных местах. Это могут быть места торжеств и отдыха, вроде монументов, парков и скверов, но также и территория вокруг и внутри кузниц коммунизма/социализма – заводов, фабрик, колхозов, институтов и проч.

Еще раз: естественно, что с концом СССР все это кончилось. Никому в голову, если вдуматься, не придет вывешивать изображения ловких брокеров, трудолюбивых мелких лавочников, капитанов частной индустрии. Их успехи – частное дело их самих; вся общественная польза от деятельности новых героев в том, что они создают рабочие места и платят налоги. Остальное –

поле интереса их близких и родных, друзей, работодателей и наемных работников. Собственно, так было все 1990-е и часть 2000-х. Наглядную советскую агитацию сменила реклама; там же, где не сменила, портреты передовиков производства и Доски почета тихо гнили в закоулках постсоветской жизни, вызывая нежные чувства эстетов-любителей руин и меланхолии. И вдруг все как бы вернулось, но уже на новом этапе и в каком-то новом виде. Проезжая мимо ГАЗа, читаешь биографии тружеников, их вклад в успех предприятия – но только непонятно, какое дело окружающим до того, кто и как работает на еле дышащем заводе, принадлежащем Олегу Дерипаске. Кто адресат этой новой-старой агитации и пропаганды? Каков ее месседж? И, главное, что за тип общественного сознания породил этот странный, комичный феномен?

С первого взгляда все понятно. Есть «ностальгия по советскому», или, по крайней мере, так считается. Это ностальгия по временам, когда «трудящимся» воздавались все мыслимые почести (как обстояло дело в реальности, никого, кроме специалистов, не интересует). Сейчас почестей нет, к «трудящимся» относятся в лучшем случае, со снисходительным презрением. Но такое положение дел, с точки зрения элит – которые как раз сами и презирают «трудящегося», – чревато социальным недовольством. Потому лучше взять и сделать муляж социализма на отдельно взятом шоссе вдоль корпусов ГАЗа – пусть «народ» хоть на некоторое время почувствует себя комфортно. Вторая причина – в том, что негоже вешать рекламу других компаний в собственных владениях. Свою рекламу в данном случае не повесишь – ГАЗу попросту нечего рекламировать, особенно учитывая его нынешнее состояние. Реклама автомобилей других фирм будет выглядеть признанием в унизительном бессилии. Можно, конечно, повесить билборды «Макдоналдса» и KFC, но как-то скверно выходит – остатки эстетического и социального чутья подсказывают, что некомильфо. А токари и бухгалтеры – это безобидно, гуманистично и позитивно. В-третьих, вообще не осталось общеидеологических месседжей, кроме Величия России и Великой Победы. Но и они тут не очень подходят. Прежде всего, Победа – лозунг сезонный, мозоля глаза публики круглый год, он может просто-напросто надоесть. Величие России – идея неплохая, тем более рядом с заводом, который внес немалый вклад в военно-промышленную мощь СССР. Но здесь тоже возможны неувязки. ГАЗ построил Форд, как известно; это американский фабричный проект, перенесенный на советскую почву вместе с заокеанскими инженерами и даже рабочими.

Дальше – больше: некогда мощный завод переживает сейчас не лучшие времена, так что плакаты о могуществе и величии будут оттенять реальное положение дел. Есть еще несколько иных причин, но мы не будем здесь на них останавливаться. Главное то, что общеидеологических, пропагандистских плакатов сейчас здесь нет и быть не может. Раньше портреты передовиков дополняли общеидеологическую риторику и, наоборот, риторика придавала дополнительное измерение трудовым биографиям. Два элемента пропаганды идеально сочетались друг с другом. Сейчас же герои – уже не социалистического, а капиталистического – труда выглядят рядом с корпусами ГАЗа довольно странно. Точнее так – они выглядели бы странно, обрати на них хоть кто-то внимание. Но никто не обращает.

И тут мы переходим к двум другим нашим вопросам: к предполагаемым адресатам новой наглядной агитации и к особенностям общественного сознания, которое стоит за этим сюжетом. Особенность обсуждаемого месседжа – и многих других в современной России – заключается в том, что он ни для кого не предназначен. Постсоветская агитация, стилизованная под советскую, противоположна рекламе. Последняя точно знает, на какую фокус-группу работает и что она от этой фокус-группы хочет (денег). Нынешняя же агитация социально не сфокусирована, они, как сказал бы Розанов, «ни для кому» – и для всех разом. Более того, она не указывает на нечто действительно существующее в мире. Реклама рекламирует продукт, который можно купить в магазине. Новая русская социальная агитация рекламирует идею «социальной справедливости» и «уважения к человеку труда», которых в постсоветском мире и в помине уже давно нет. Это не реклама, а отсыл к зиянию на том месте, где в советское время стояла Доска почета. Предполагается, что место это важно и что оно наделяет смыслом окружающую жизнь.

Тут настало время для разговора о специальном постсоветском сознании. Оно удивительно, ибо умеет сочетать в себе совершенно несочетаемые вещи. Его часто критикуют за это и даже высмеивают. Действительно, как совместить разговоры об особой «русской духовности» с мелким, корыстным, злобным цинизмом, что пропитал современную общественную атмосферу в стране. Или представления о невероятной ценности Великой Русской Культуры с полным пренебрежением к любому культурному знанию, с тем, что «классиков» не читают, не смотрят, не знают. То же самое можно сказать и об истории. Однако попытки вывести на чистую воду подобные противоречия заранее обречены на неудачу. Дело в том, что критика этого типа сознания производится обычно теми, чье собственное мышление

исходит из идеи внутренней цельности и непротиворечивости – пусть даже и не совсем верно понятой. Более того, эта критика исходит из необходимости обнаружения некоей логики в словах, мыслях и поступках других людей. В случае постсоветского общества такая логика есть; точнее, есть логики, во множественном числе. На каждом уровне, в каждом отдельном случае работает своя особая логика. Особость ее прежде всего в том, что она нисколько не заботится о существовании других логик; человек и общество мыслят и действуют на разных уровнях, в пределах разных ситуаций по-разному, нисколько не расстраиваясь тем, что со стороны все это выглядит как безнадежная шизофрения в последней стадии. Именно поэтому не имеет смысла искать особый смысл в том, отчего нужно вешать портреты трудолюбивых работников компании ГАЗ на шоссе, по которому чаще всего перемещаются люди, никакого отношения к этой компании и ее целям не имеющие. Логика здесь исключительно для внутреннего потребления, и она описана нами выше.

Отсюда и странное сочетание в постсоветской жизни крайнего индивидуализма, даже социального эгоизма с фантомной советской идеей социальной справедливости и, более того, с каким-то совсем уже смешным воображаемым эгалитаризмом. Вот президент страны Владимир Путин, создавший, кажется, самую несправедливую социально-политическую систему в современной Европе в угоду двадцати – тридцати сверхбогачам, выступает в защиту «простого трудового человека», работая на аудиторию, которую условно называют «рабочими Уралвагонзавода». В общесоветской логике это выглядит невозможным: главный богач и буржуин просит поддержки пролетариев в деле дальнейшего обогащения себя и своих приятелей. Но сейчас никто особенно не удивляется; собственность на средства производства и производственные отношения – это одно, а политическая риторика – совсем другое. И связи между ними нет. Когда Навальный рассказывает очередную историю о скромном чиновнике – с виллой на Лазурном берегу и детьми в Оксбридже, – который рвет и мечет в защиту «простого трудового россиянина», это уже никого не удивляет. Не потому, что все привыкли, нет, просто такие вещи существуют отдельно.

Самое интересное, что сочетание пропагандистской идеи «социальной справедливости», «равенства трудящихся» с жесткой социальной стратификацией, резким имущественным неравенством и процессом формирования сословной системы появилось не сегодня и даже не вчера. Это изобретение

сталинского времени, причем 1940-х – начала 1950-х. О сословном неравенстве, о социальной политике сталинизма (особенного позднего), о формировании чиновничьей и пропагандистских каст написано немало. Если взять область культурной политики (и ее социально-экономических аспектов), то незаменимой здесь является исследование Евгения Добренко «Политэкономия соцреализма»[7], главная тема которой – строительство «фабрики по производству *реального социализма*». Погромные кампании, «борьба с космополитизмом» конца 1940-х – начала 1950-х в гуманитарных науках и области культуры подробно рассмотрены в обстоятельном двухтомнике Петра Дружинина «Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы»[8]; он дает прекрасный материал для понимания этих событий как своего рода смены советских поколений интеллигенции, в ходе которой более молодые оттеснили своих «учителей» от источников распределения благ и социальных статусов. Наконец, совершенно бесценными являются свидетельства авторов дневников и мемуаристов того времени – Любови Васильевны Шапориной[9], печально известной Софьи Казимировны Островской[10] и, конечно же, главного русского социального комментатора и философа прошлого века Лидии Яковлевны Гинзбург[11]. Если Шапорина, Островская и многие другие свидетельствуют о процессе создания новой социальной иерархии и соответствующих изменениях в общественном сознании, то Лидия Гинзбург анализирует происходящее, давая беспощадно точные оценки. Еще не кончилась война, Ленинград только оживает после самой тяжелой фазы блокады, но уже здесь начинает формироваться совсем другой уклад – общественный и уклад жизни, – совершенно нехарактерный для утопических двадцатых и даже для страшных тридцатых годов:

> С. в прошлом месяце каким-то зайцем прикрепилась к магазину одного высокого учреждения. Воспроизводит разговор в очереди на прикрепление. Дама в котиковом манто – соседке:
>
> – С будущего месяца здесь обещают все изменить. Все эти дополнительные карточки уберут отсюда. А то смотрите что получается – я стою и мой шофер стоит, сзади меня в очереди. У него дополнительная, и он стоит. И потом все время с ними сталкиваешься. Берут сто грамм масла, а время занимают, создают очереди.
>
> <…> Любопытно, что мы еще демократичны и пользуемся притом не буржуазно-демократическим, а социалистически-демократическим понятием равенства,

то есть понятием, отрицающим неравенство не только сословное, но и имущественное. И совершенно асоциальная птичка С. бессознательно пользуется тем же критерием (ведь в буржуазных условиях никого бы не удивило замечание дамочки), бессознательно имеет перед собой ту же норму равенства, за убыстряющимися отклонениями от которой мы следим. Новая иерархия вовсе еще не совершившийся факт, а еще процесс, в достаточной мере противоречивый и ощутимый.

Перед нами проницательное рассуждение о диалектике принудительного идеологического равенства (абстрактного) и (конкретного) формирования нового неравенства в сталинскую эпоху. В голове интеллигентов и людей близких к спецраспределителям одновременно существует две идеи: старое «социалистически-демократическое равенство» (в том числе и имущественное) и «новая иерархия», за которой стоит сознательная политика власти. Гинзбург отмечает, что важнейшую роль в развитии этой «иерархии» сыграла, конечно же, война с ее специальной иерархией, оправдывающей неравенство высшими целями победы, а также характерная для военного времени «иерархия снабжения», связанная с дефицитом, голодом и проч. Напомню, что все это происходит под аккомпанемент коммунистической риторики о равенстве, братстве и борьбе с эксплуататорскими классами. После войны, когда, казалось бы, необходимость в подобной иерархии исчезла, она на самом деле лишь окрепла и выстроилась уже в настоящую систему. Любопытно, что люди интеллигентных профессий занимали в этой иерархии довольно высокое место; представители естественных наук – вследствие их роли в создании военно-промышленного комплекса, а гуманитарии – из-за необходимости идеологически «сопровождать» политику власти. Вторым приходилось сложнее, ибо их квалификацию и соответствие профессиональному уровню сложно оценить (и Гинзбург пишет о катастрофе советской филологии после войны), их пригодность для идеологических нужд не всегда очевидна, а сам предмет их знания был исключительно опасен – ведь речь идет об истории и культуре! Потому в этой области и погромы были страшнее, и доносительство чаще, и моральный распад глубже. Тем не менее даже тем, кто существовал как бы на задворках, жилось не так плохо, хотя бы по сравнению с рабочими и особенно крестьянами. В записях 1950-х годов у Лидии Гинзбург поминается ее «домработница». Деталь удивительная, учитывая, что Гинзбург, чудом избежав посадки, постоянной

работы в Ленинграде не имела, перебивалась случайными заработками и была вынуждена ездить в Петрозаводск, где преподавала. Но у нее – а Гинзбург жила одна – была домработница! Невозможно представить себе подобное в семье тогдашнего рабочего, да даже и инженера на невысокой должности. «Пролетарский» характер советской власти при Сталине сильно преувеличен.

Сталинская сословная система состояла не только (и не столько) из интеллигенции, однако приведенный выше пример говорит о многом. Эта система, несмотря на попытку ее трансформации (и даже уничтожения) при Хрущеве, просуществовала до конца СССР. Точно так же просуществовало двоемыслие в общественном сознании: с одной стороны, «социалистически-демократическое равенство», с другой – социальная иерархия, глубокое неравенство, пусть и прикрытое фактом полузапрета рыночных отношений. То, что постсоветский человек с ностальгией вспоминает как времена «справедливой жизни» без особого неравенства и эксплуатации, – такой же фантом, как и портреты передовиков производства возле частного завода по производству автомобилей в Нижнем Новгороде. Разница в том, что до 1991 года неравенство терпели и на него закрывали глаза, так как власть ставила перед обществом большую общую цель строительства будущего. Ради него можно не особенно обращать внимание на спецпайки обкомовских секретарей и заграничные поездки прикормленных писателей. Сейчас будущего в России нет. Нет и идеи социальной справедливости как таковой, не говоря уже об идее равенства. Но есть довольно сложный клубок очень запутанных бесформенных (пока) психических реакций на происходящее, прежде всего – на провал самого́ проекта под названием «постсоветская Россия». Распутать этот клубок невозможно. Зато вполне возможно применять к нему разного рода терапевтические процедуры. К примеру, делать вид, что на дворе 1967-й и что кого-то интересуют трудовые успехи слесаря И. или инженера С.

Приличная история: модель для сборки

У меня нет телевизора, но иногда – довольно редко – я смотрю в компьютере документальные и научпоповские сериалы Би-би-си. Высокое качество их известно; кажется, Би-би-си – один из немногих примеров того, как действительно нужно тратить деньги, которое население отдает за информирование себя и общественные развлечения вообще. Я не собираюсь, конечно, петь здесь хвалу всей бибисишной продукции, слабых мест и просто халтуры там предостаточно, но удачи пока окупают недостатки. При этом – в отличие от других телеканалов – эти удачи не являются редкостью. Собственно, Би-би-си в каком-то смысле создала целый «конвейер удач», подняла уровень определенного типа медийной продукции даже выше ожидаемого – и довольно долго держит этот уровень. Впрочем, в последние годы много говорят о кризисе в корпорации, что, увы, верно. Тем не менее гордость Би-би-си, документальные сериалы об истории, по-прежнему замечательны. Остается только понять почему.

Для того чтобы документальные фильмы на историческую тему были одновременно хороши и (относительно, конечно) популярны, требуется нечто вроде общественного консенсуса по главным вопросам истории, морали, политики, эстетики и даже экономики. Платформой для подобного консенсуса в Британии (как и вообще в большинстве стран Западной Европы) является многочисленный средний класс с долгим и богатым прошлым, который в большинстве своем и определяет многие общественные представления. Ни английская аристократия, ни рабочий класс с этой ролью справиться не могли бы. Культурный и социальный вес английской аристократии ничтожен – да она и не претендует на серьезную роль в этих областях жизни, тихо довольствуясь экономическими и политическими дивидендами, которые она получает от сохранения в стране довольно архаичного сословного устройства. Более того, местная аристократия (как и британская монархия) давно превратилась в товар весьма выгодного культурного экспорта. Тут и сериалы о Дживсе и Вустере, и романы из жизни знатных студентов Оксбриджа (вроде «Возвращения в Брайдсхед» Ивлина Во), да и сами по себе громкие титулы еще с конца XIX века были превосходной приманкой для богатых американских невест. Что касается британского пролетариата, то он в своем старом виде был почти полностью – как сплоченная социальная группа, обладающая собственным классовым мировоззрением, – уничтожен Маргарет Тэтчер вместе с промышленностью, в которой пролетариат

трудился. Людей, продающих свою рабочую силу в Британии, сегодня очень много, но они либо исповедуют буржуазные ценности, стремясь пополнить ряды среднего класса, либо представляют собой так называемый «прекариат» – относительно новую социальную группу, состоящую из работников по найму, не имеющих нормального трудового договора и социальных гарантий. Сам термин «прекариат» появился относительно недавно, но уже завоевал умы; об этом социальном феномене написана книга Гая Стэндинга под заманчивым названием «Прекариат: новый опасный класс»[12]. Пока же этот класс стал не настолько «опасным» (то есть прежде всего «влиятельным»), чтобы производить и воспроизводить свои собственные классовые ценности, в том числе и культурные. И это не удивительно. К примеру, к «прекариату» можно отнести и публикующегося писателя, чей социальный статус шаток, пенсия ему не полагается, никаких обязательств, кроме выплаты гонорара и «роялтиз», издатель перед ним не несет. С другой стороны, уборщицы, мусорщики, частные няни, сотрудники супермаркетов, раскладывающие товары по полкам, ремесленники, работающие на ярмарках и в центрах традиционных промыслов, – тоже ведь «прекариат». Понятно, что ничего общего между ними нет; по крайней мере пока нет. Самое главное, у них нет общего языка, на котором они могли бы высказывать общую точку зрения по тем или иным вопросам, претендуя не только на то, чтобы быть услышанными, тем более на социокультурную гегемонию.

Другое дело – средний класс. Он уже своим положением в структуре общества обречен отвечать за умеренность, за общепринятые ценности, замирять крайности и т. д. Более того, несмотря на то что британский средний класс очень пестр, общий язык у него в общем-то есть. А есть он потому, что существует некий набор ценностей, которые все представители этой социальной группы, вне зависимости от пола, происхождения, религии и проч., исповедуют. Ценности же эти являются результатом долгой истории и Великобритании, и британского общества.

За последние пятьсот с лишним лет эта страна пережила страшную гражданскую войну, жестокую государственную Реформацию, несколько волн массовой эмиграции по экономическим и религиозным причинам, революцию и еще одну гражданскую войну, увенчанную казнью короля, потом еще одну революцию, но почти бескровную, больше ста лет экономического и морского мирового господства, создание гигантской колониальной империи и ее крах, первую в мире промышленную революцию – и много чего еще. Почти каждое из этих событий

сказывалось на среднем классе, «приращивая» его за счет других социальных, этнических и религиозных групп. Несмотря на острейшие разногласия по самым разнообразным вопросам, противоречия, приводившие к потокам публичной брани и даже крови, британский средний класс стал тем местом, где эти противоречия если не разрешались (почти никогда!), то хотя бы сглаживались. Именно в сознании среднего класса, несмотря на остроумие записных эстетов и критику социалистов, возникла сама возможность терпимого сосуществования разных людей. Отсюда культ «своего дома», частной жизни, *privacy* у англичан, распространившийся потом уже на всю многонациональную страну. Каждый у себя дома царь – но каждый же вступает в горизонтальные социальные связи с другими такими же «царями»; главное, чтобы никто не лез в твои дела. Таким образом, выбор проблем, которые предлагались для обсуждения в «общественное поле», подвергался пристальному изучению каждым из участников социальной коммуникации. Истоки знаменитого «британского здравого смысла»[13] следует искать здесь. Здесь же – причины устойчивости большинства воззрений британского среднего класса на историю, этику, эстетику и политику. Еще Джордж Оруэлл видел в этом обстоятельстве главное противоядие фашизму в Британии, впрочем, как и коммунизму. Первый исповедовали некоторые аристократы, второй – интеллигенты-дезертиры из «среднего класса».

Таковы ключевые элементы индустрии хороших документальных телесериалов об истории на Би-би-си. Приступая к изготовлению очередного фильма, автор уже заранее знает социокультурные рамки, в которых будет работать, представляет себе язык, на котором стоит говорить с аудиторией, и даже более-менее догадывается, какие сюжеты стоит взять, а какие отбросить. Причем речь идет не о «государственной цензуре» и даже не о «внутренней цензуре»; господствующие в обществе представления действительно разделяются большинством тех, кто изготовляет культурную продукцию для этого общества. Оттого, изучая тот или иной бибисишный фильм «про историю», многое понимаешь не столько про историю, сколько про современное положение дел.

В конце весны 2016 года я медленно просматривал шестисерийный сериал Би-би-си «The Story of China». Я не перевожу здесь название на русский, ибо в английском языке есть два слова, выражающие два разных значения, которые содержатся в русском слове «история». «History» – история как «историография», комбинация общего прошлого и повествования о нем. «Story» – это «история, которая приключилась с кем-то, со мной, с ним», это именно «рассказ о происшествиях в частной

жизни». Можно много спекулировать на тему отсутствия в русском языке второго термина, но мы не будем здесь этого делать, ибо такие спекуляции обычно заводят в картонные историософские дебри. В любом случае точно перевести название бибисишного сериала невозможно, не прибегая к метафорам или не добавляя в заглавие дополнительные слова. Меж тем в названии «The Story of China» содержится намек на подход создателей фильма к своей теме.

История и современность Китая подаются как рассказ о жизни некоего феномена, по сути отдельной цивилизации. «Китай» берется в качестве единого объекта, внутри которого общее перемешано с частным таким образом, что различить уже невозможно. Знаменитый британский телеисторик Майкл Вуд на протяжении шести серий рассказывает об императорах, о производстве шелка, о древнем фастфуде, о семейном законодательстве династии Минь, о Конфуции, буддизме, торговцах, крестьянах, нравах правящей элиты, перескакивая с предмета на предмет, казалось бы, прихотливо и даже совершенно небрежно, алогично. Со стороны это выглядит именно так. С точки зрения историка континентальной выучки, это проявление типичного для британской культуры эссеистического подхода, который отталкивается от узкопозитивистского академического гуманитарного знания, но отказывается воспарять в мир Больших Идей и Концепций. В этом главная слабость британского гуманитарного мышления, но одновременно сила британского общественного сознания. Единственные как бы «универсальные» рамки, которые Вуд применяет, – это деление китайской истории по династиям. Но и в рамках этого деления его больше интересует пестрый калейдоскоп жизни на самых разных уровнях, отдельные судьбы, любопытные вещи и, главное, удивительные достижения китайцев в технике, знаниях, их религиозные верования, их образ жизни. В подобном мировоззрении даже грозные императоры удостаиваются не очень большого внимания; обычно их роль сводится к тому, что они либо берут, либо теряют власть, задавая некий импульс, о котором, впрочем, сам Вуд довольно быстро забывает.

Можно, конечно, предположить, что перед нами типичный продукт масскультуры, которая стремится уравнять разные уровни жизни, прошлого, искусства и прочего, чтобы «толпе» было удобнее потреблять очередной культурный товар. Но это не так. Прежде всего, Би-би-си не является коммерческим медиа и «продавать» свою продукцию не особенно стремится – по сравнению, конечно, с чисто коммерческой прессой. Тем более

таковой продукцией не может быть большой и довольно серьезный (не говоря уже о том, что явно дорогостоящий) сериал о далекой и до сих пор не очень известной стране. Ну и, конечно, тут нет никакого «политического» или даже «идеологического заказа» со стороны государства или неких могущественных сил. Прежде всего, Би-би-си устроена так, что подобный заказ со стороны государства невозможен. Точно так же она свободна от иных подобных влияний. Не найти в «The Story of China» ни идеологии, ни даже стремления потрафить могущественным китайцам, чья экономика столь сильна. Отнюдь. Просто известный популярный историк и журналист рассказывает историю жизни и современности интересующей многих страны – и делает это именно таким образом, как от него ждут многие. Вот что я называю «общественным консенсусом».

Сила «The Story of China» в том, что создатели просто не обращают внимания на очевидные слабости и изъяны своего подхода. Перед нами довольно странная «история Китая» – она как бы сразу про все понемногу, причем элементы общей картины противоречат друг другу. Вуд с восторгом говорит о мощи империи в тот или иной период – и со столь же сильным состраданием говорит о человеческой цене, за это заплаченной. Он радуется всему, что происходит с Китаем, – строительству Великой стены, военным победам, моде на лакированную утварь, стихам, размаху коммерции, появлению в стране буддистов и иезуитов. Любопытно, что Вуд никого не осуждает. Если свергают очередную великую династию, то виноваты либо вторжение почти анонимных чужеземцев, либо внутренние распри, причины и смысл которых не назван. Вообще, то, что можно назвать в старом романтическом смысле слова «историей», выступает в фильме скорее как равнодушная Природа, которая то ураган пошлет, то ласковое солнышко отправит погулять из-за туч. Все, что в Китае хорошего, – дело рук людей, плохое же появляется как бы само собой, не будучи связанным с хорошим. Интересно также отметить еще одну деталь. О «The Story of China» нельзя сказать, что здесь представлен «западный гуманистический подход», индивидуалистский, персоналистский. Он там есть, безусловно, – в фильме то и дело поются гимны духу личного предпринимательства, восхваляется живая, богатая и довольно современная городская китайская культура тех веков, когда в Европе «городами» называли жалкие поселения, один китайский ученый и изобретатель назван «местным Леонардо да Винчи» (впрочем, Вуд оговаривается, что тот жил задолго до итальянца), а писатель Ли Чжэнь – даже «китайским Прустом» (с хронологией в этом сравнении еще хуже). Китайская цивилизация

представлена как одна из самых важных для человечества, а в какие-то исторические периоды – и самой важной. В то же время в «The Story of China» все серьезные изменения внутри страны начинаются по воле императора, каждая новая столица империи описывается чуть ли не с подобострастным восторгом, да и само деление фильма на серии, как я уже говорил, основано на смене династий. Майкла Вуда в Китае действительно восхищает все – и традиционализм, и модернизация, и власть, и народ, и мощь страны, и даже ее закрытость. Войны, страдания, политические и экономические катастрофы придают лишь объемность великому пути великой страны. Наконец, единственная историософская концепция в фильме заимствована у китайской же традиционной официозной историографии – это идея циклов, согласно которой каждый взлет империи заканчивается крахом, каждый крах приводит к взлету – и т. д. по кругу. В подобной картине уже нет места ни индивидуализму, ни гуманизму западного типа – перед нами совсем другой способ исторического мышления, нежели тот, что принят на запад от Брест-Литовска.

Получается любопытная – и совсем неожиданная – картинка сознания аудитории культурных программ Би-би-си. Для среднего класса ни антропоцентризм, ни «гуманизм», ни светская демократия, ни даже модерность не являются абсолютными ценностями – иначе «The Story of China» был бы сделан по-иному. Сознание британского среднего класса готово применять все вышеперечисленное исключительно к себе и своей стране, но не к другой (и здесь гигантское его отличие от американского общественного сознания). Зритель и создатель «The Story of China» предпочитают рассматривать чужие общества и культуры так, как они есть, точнее так, как они кажутся отсюда, со всем уважением к чужому *privacy* (конечно, это *privacy* тут же заканчивается, стоит чужакам посягнуть на «наше» *privacy* – но это как раз по-человечески понятно). Собственно, столь ненавидимый западными правыми и почти всем населением постсоветского пространства «мультикультурализм» заключается именно в этом. «Мультикультурализм» как теория был создан левыми профессорами социальных и гуманитарных наук лет сорок назад. «Мультикультурализм» как политическая, социальная, культурная практика сложился стихийно в некоторых западных обществах значительно раньше. В каком-то смысле – еще во времена становления Британской колониальной империи; британцам в голову не приходило перестраивать местные общества радикальным образом, они включали в них лишь нужные им самим собственные элементы. Так в Британской Индии христианская проповедь равенства соседствовала с

кастовой системой – и одно другому не очень мешало.

И здесь следует сделать одно отступление – довольно странное на первый взгляд. Удивительно, но фильм Майкла Вуда «The Story of China» дает некоторое представление о том, как в ближайшие годы будет представлена российской властью официальная история страны. Собственно, как ее уже представляют обществу.

Это, конечно, вынужденный подход, он пытается замаскировать зияние на месте отсутствующей идеологии. У нынешней российской власти есть лишь некоторые пожелания к прошлому – чтобы оно, во-первых, не было опасно-актуальным, во-вторых, чтобы оно представляло нынешнюю власть естественным продолжением всех предыдущих режимов, наконец, в-третьих, чтобы прошлое не особенно расстраивало людей, чтобы в нем было в основном положительное, а отрицательное должно иметь инородное – или просто необъясняемое – происхождение. Подход исключительно прагматический, даже сиюминутный, рассчитанный на злобу сегодняшнего дня, он не имеет в виду будущего. В новой официальной истории нужно совместить и «современность» и «традицию», и правителей и народ, и церковь и науку, и революцию и реакцию. Это тесто должно быть механически перемешано – и выложено в специальную историософскую формочку для выпечки. Последняя требует особого внимания; здесь и только здесь создателям новой истории нужно прилагать особые интеллектуальные усилия. Дело в том, что «формочка» – вопрос чистой идеологии. Она может быть «марксистской», «либеральной», «националистической», любой иной, но непременно идеологической по своему происхождению. В то же время, несмотря на все упреки путинскому режиму, он не является ни советским ностальгантом, ни даже упадочной мягкой версией фашизма. Все идеологии ему равно страшны. Оттого лучше положиться на самый безопасный (и в нынешнем мире самый коммерчески успешный) заменитель идеологии – на «традицию», на то, что французский историк Марк Блок называл «культом истоков». Во времена Блока и чуть позже этот культ был одним из закладных камней крайне правого консерватизма, франкизма, итальянского фашизма. Сейчас дело другое – он призван объяснять необъясняемое, точнее делать вид, что нечто объясняется, однако на самом деле никакого объяснения не предъявляется. Что бы ни происходило, в качестве причины приводится только одно: «Так в этих землях у этого народа повелось». Это то же самое, что Майкл Вуд говорит по поводу китайского прошлого и настоящего.

Так что же, нынешняя российская власть разделяет

мировоззрение британского среднего класса? Отнюдь. Сознание британского среднего класса выросло из сотен лет сложной истории. Оно никогда не манифестирует себя в качестве официального подхода. Это своего рода «здравый смысл» людей, живущих в самом пестром окружении, среди других людей, которые, быть может, твоих взглядов вовсе не разделяют. В конец концов, в Британии это «массовый подход», это то, что общество ожидает от медиа, а не от власти, к примеру. Ничего подобного в России нет. Здесь общество не имеет консенсуса по поводу прошлого, по поводу основных ценностей и прочего. Сегодня подобный консенсус невозможен – и не только из-за идущей в этом обществе «холодной гражданской войны». Для консенсуса важно чувство общего опыта проживания прошлого – пусть даже и по разные стороны баррикад и линий фронтов. Этого чувства нет и быть не может, ибо с каждой последующей властью после 1917 года прошлое обкарнывалось, обрезалось, ненужные куски выбрасывались или тщательно прятались. В результате не осталось ничего – ни истории людей, ни истории царей, ни истории генсеков, ни даже истории святых, генералов, писателей и композиторов. Начиная со второй половины 1980-х все пришлось сочинять заново, однако большинство людей, занятых своими делами, следили за этими культурными затеями вполглаза. Что, в общем, вполне понятно – и даже неплохо. В конце концов в течение какого-то времени это должно было привести к формированию групповой социальной и культурной солидарности, после чего наличные общественные группы могли бы устанавливать некое согласие между собой. Сами устанавливать. И вырабатывать язык этого согласия. Процесс долгий, мучительный, успех не гарантирован – но это единственно возможный вариант в перспективе.

Вместо этого нынешняя власть решила форсировать неспешный ход постсоветской жизни и затеяла потешную «мобилизацию». А для мобилизации нужно согласие по поводу прошлого и настоящего. Спешно нанятым второразрядным пиарщикам пришлось судорожно складывать это согласие из всего, что попадается под руку, – чтобы потом предъявить его обществу. Дело оказалось сложноватым, но отступать уже поздно. В результате в качестве официальных представлений о собственной стране россиянам будет предлагаться примерно то же самое, что Майкл Вуд рассказывал британцам о Китае. Примерно то же, но, конечно, не так артистично.

Получается, что перед нами еще одно доказательство «неоколониального характера» путинского режима, где роль колонии играет собственная страна? Быть может. Только

британскому чиновнику в 1947 году было куда вернуться из получившей независимость Индии, а вот Сечину с Мединским ехать некуда.

Сталин против Швондера

Весной 2016 года российская либеральная интеллигенция лишилась, кажется, последних иллюзий – кинорежиссер Владимир Бортко выступил с панегириком Сталину. Да-да, тот самый Бортко, автор чуть ли не самого антисоветского фильма перестройки, «Собачьего сердца». Цитатами из «Собачьего сердца» прогрессивная интеллигенция (а позже первое поколение мелких и средних бизнесменов) разговаривала, думала и даже объясняла свои политические, социальные и экономические взгляды. Социально неблизких называли «швондерами», отвратительных и неприятных – «шариковыми», мантры вроде «Не надо читать до обеда советских газет» или «Разруха не в клозетах, разруха в головах!» получили в определенной среде почти столь же широкое распространение, как угрюмая говорухинская бессмыслица «Вор должен сидеть в тюрьме!». И вдруг вот такое разочарование. Сталинистские гимны Бортко вызвали мощное негодование, даже отчаяние. Одни бывшие любители и знатоки «Собачьего сердца» принялись топтать своего недавнего кумира, другие намекали на необратимые возрастные изменения, произошедшие в мозгу любимого кинорежиссера, третьи напирали на то, что художник – это одно, а его творения – это другое. Наконец, четвертые решили утопить телевизионное «Собачье сердце» с помощью литературного «Собачьего сердца», мол, все хорошее в кино пришло из книги, а остальное – полная ерунда и вообще фильм этот мне никогда не нравился. Впрочем, были и такие, кто обвинил в сталинизме самого Булгакова.

Лишь немногие обратили внимание на несколько очевидных, общеизвестных деталей, о которых негодующие вроде бы как и забыли. Прежде всего, Владимир Бортко – уже давно член КПРФ, депутат той самой Госдумы, что приняла те самые позорные законы, которые она приняла, что он соратник Зюганова, сторонник Путина, что насчет Сталина он уже высказывался в подобном духе. Наконец, Бортко убежденный «крымнашист» – несмотря на то что он пасынок советского украинского драматурга Александра Корнейчука, что учился он в Киевском театральном институте, в том же городе начал свою профессиональную карьеру и уже относительно недавно, 9 лет назад, снял «Тараса Бульбу» с Богданом Ступкой в главной роли. Впрочем, все это сегодня неважно – злоба дня сгрызла персональные истории самых разных людей. К тому же более верного, официозного, непробиваемого сталинца, чем Александр Корнейчук, сложно было найти.

Второе обстоятельство – фильм «Собачье сердце» действительно антисоветский, по крайней мере, он казался таковым в конце 1980-х. Но был ли он антисталинским – вот вопрос. И, наконец, третья деталь, очень важная: как и многие другие фильмы, «Собачье сердце» растаскан на цитаты, но многие ли помнят, что на самом деле там происходит?

Прежде всего: действительно, главное недоразумение связано с характеристикой «Собачьего сердца» как «антисталинского фильма». Никакого Сталина в фильме практически нет – не считая визита к профессору Преображенскому некоего партийного босса кавказской наружности, а также телефонного разговора с невидимым (и также говорящим с акцентом) собеседником. Это лишь намек на тогдашнего, далеко не всесильного первого секретаря; дело ведь происходит где-то в середине 1920-х и Сталин еще вовсе не диктатор, он добивает Троцкого – с помощью Зиновьева и Каменева, которых он в свою очередь тоже добьет с помощью Бухарина и Рыкова, которых он отодвинет и позже растопчет уже сам. Никакой критики не существовавшего в 1920-е сталинизма в сериале быть не может. Надо отдать должное Бортко – он не особенно идет против исторических деталей, даже скорее их уважает и бережно к ним относится.

«Собачье сердце» – фильм не антисталинистский, а антисоветский, что есть огромная разница. Выше я уже отмечал, что «антисоветским» он казался в годы перестройки. Но если пересмотреть его внимательно сегодня, это представление превращается в убеждение. Да, это действительно антисоветский фильм. Однако тут важно уточнить, что именно в данном случае следует считать «советским» – то есть тем, против чего выступил Бортко.

«Советского» в этом фильме целых два. Первое «советское» – это современный Булгакову идеологический пласт, утопическое мировоззрение, согласно которому все трудящиеся – братья, собственность должна быть общей, границы – странное недоразумение, включая, конечно, гендерные и расовые. Капитализм с его классовым обществом обречен, и на его обломках следует построить бесклассовое общество будущего – и тем самым, как пророчил Маркс в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», выпасть из истории. История закончится, начнется вечная эра счастья, справедливости и блаженства. Даже сама биологическая природа человека может быть изменена – то ли смерть удастся отменить, то ли старость. Над последним, собственно, профессор Преображенский и трудится. Не следует иронизировать над этим кругом идей и надежд – именно

благодаря им Ленин и его соратники смогли совершить революцию, взять власть, удержать ее в Гражданской войне, примерно именно в таком виде советская идеология продолжала существовать в 1920-х, привлекая симпатии и горячую поддержку не только в СССР, но и во всем мире. И именно с этим «советским» Сталин и покончил, сохранив для прикрытия риторику марксизма-ленинизма. Вместо пролетарского интернационализма – восстановление империи и (уже после войны) новый имперский русский национализм, смешанный с антисемитизмом, вместо равенства – вопиющая социальная несправедливость, новая сословная система, которая имела тенденцию превратиться в кастовую. Бортко – типичное дитя такой системы: из влиятельной сталинской кино– и театральной семьи он попал в позднесоветские и постсоветские режиссеры. Так что не стоит ставить ему в упрек слова, обращенные к товарищам по КПРФ, мол, без Сталина нас бы здесь, в этих креслах, не было. Самого Бортко, скорее всего, в том качестве, в котором он сейчас существует, точно не было бы. И режиссер знал это всегда.

Второе «советское» в фильме – это на самом деле «поздесоветское», образца 1970-х – середины 1980-х. Тут, конечно, уже совсем другое – никаких утопий, никаких выпадений из истории, никаких мировых революций. «Позднесоветское» представляло собой смесь неплохо налаженной системы социального, социалистического государства с реальным имущественным неравенством и даже с довольно причудливой разновидностью массового консюмеризма, базировавшегося, впрочем, не на изобилии товаров, а на их дефиците. Все это прикрывалось не только идеологией марксизма-ленинизма в его осторожной версии, но и конкретной внутренней политикой партии. В частности, СССР был «государством трудящихся», а среди трудящихся главным был пролетариат. Рабочий класс имел от этого не только символические выгоды (официозные – и не только официозные – почет, уважение и проч.), но и реальные. Достаточно сравнить зарплаты рабочих и интеллигенции в тот период, и станет ясно, что в каком-то смысле Брежнев и его соратники отказались от социальной практики сталинизма. Впрочем, первый и главный шаг в этом направлении сделал, конечно, Хрущев.

«Сталинизм» – хронологически и исторически – прослойка между этими двумя пластами «советского». Сталинизм был построен на реальном отрицании предыдущего «советского» при сохранении ему формальной лояльности – отсюда остервенение, с которым в 1930-х (и позже) истребляли «людей революции»,

«людей Гражданской войны» и «людей 1920-х». Этот сюжет очевиден. Менее очевиден другой – «второе советское», «позднесоветское», хотя и отвергло сталинизм, тем не менее социально на него опиралось, точнее опиралось на тот вид общества, что был создан при Сталине, в частности на сословную сталинскую структуру. Дети – а потом внуки – сталинских бонз составили новую позднесоветскую элиту; при этом неважно, что некоторые из этой элиты стали потом в оппозицию к режиму. Отсюда противоречие между высоким социальным статусом пролетария – и доставшейся от Сталина элитой, бюрократической и интеллигентской.

В этом смысле фильм Бортко сделан с чисто сталинистских позиций, а текст Булгакова позволяет режиссеру маскировать режиссерский месседж с помощью полузапрещенного классика. Месседж этот прост. Главными объектами злых насмешек, социального высокомерия, даже презрения, переходящего подчас в настоящую классовую ненависть, становится «советское» во всех его видах. Все положительные герои сериала – люди дореволюционного классового общества, которые вполне довольны жизнью и собой. Профессор, Борменталь, прислуга – все они хорошо живут, как при «старом режиме», а «новый режим» вызывает их раздражение и страх. «Новый режим» представлен исключительно трудящимися, причем Бортко не упускает случая пройтись и по национальному происхождению «новых людей», и по их бытовым привычкам, не говоря уже о гендерном вопросе. «Пришла какая-то женщина, переодетая мужчиной», – сердито говорит профессор. Женщина должна быть в платье или юбке. Ночью она должна лежать рядом с мужчиной в кровати, а днем растить детей. И еще стирать и убирать. Прислуживать. Быть объектом. Точно так же не нравится Преображенскому и идея классовой солидарности; призыв помочь немецким пролетариям оставляет его холодным. «Я не люблю пролетариат» – эта фраза в конце 1980-х – 1990-х была среди растущего постсоветского образованного среднего класса чуть ли не самой ходовой. И никто не задался вопросом: отчего? Что плохого сделал пролетариат конкретно тебе?

А плохого пролетариат сделал вот что: он мешал и раздражал одним своим существованием. Он мешал позднесоветской элите, партийным и государственным бюрократам, части интеллигенции, которые уже осознали себя главными в СССР. В этом смысле советские лозунги про «трудящихся» – а особенно их социальные блага и зарплаты – вызывали все большее недовольство. Иными словами, они были недовольны советской идеологией, которая, надо сказать, к тому времени стала

совершенно дряхлой и симпатий не вызывала даже у тех людей, которым она, по идее, должна была служить, – у пролетариев. Позднесоветская элита хотела ликвидировать это недоразумение, сохранив существующую социальную иерархию, лишь трансформировав ее в собственную пользу – и в ущерб надоевшим «трудящимся». То, что немалая часть партийного, государственного аппарата поддержала демонтаж советской системы, связано именно с этим.

Любопытно, что в фильме Бортко в качестве «пролетариев» выведена довольно пестрая группа людей, по большей части к таковым имеющая отдаленное отношение. Швондер – мелкий общественный активист и функционер, остальные представляют собой скорее оживших персонажей советских плакатов и кино 1920-х. Что касается Полиграф Полиграфыча, то здесь история еще более интересная.

Идея превратить собаку в человека, совершить своего рода «апгрейд» не несет в себе ничего особенно советского или антисоветского. Этот сюжет имеет долгую историю, в которой можно обнаружить и легенды о Големе, и «Франкенштейна» Мэри Шелли, и даже пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». Но если и искать здесь какие-то сравнения, то только с последним из этих классических текстов. Только у Шоу этот «апгрейд» является чисто социальным – что на самом деле попытался сделать Бортко в своем фильме. Трансформация собаки в человека забавна, но не более того. Настоящий ошеломляющий эффект начинается, когда Шариков становится членом общества. Вспомним о социальном прошлом одного из его биологических отцов: из люмпена Шариков превращается в советского человека. Люмпена Клима Чугункина мы в фильме не видим, но Шариков настолько невыносимо отвратителен, что поневоле начинаешь предпочитать социальное сырье итоговому социальному продукту. Хуже советского человека нет никого – таков один из главных пунктов Бортко. Но – и здесь самое важное! – ни профессор, ни его окружение себя «советскими» не считают. И это притом, что они прекрасно вписаны в советское общество, находятся под покровительством советских бонз, живут на деньги, вырученные за сомнительные манипуляции с семенниками разного рода советских же жуликов и «творческих людей». Презрение к «советскому человеку» в фильме Бортко – это презрение живущего в барском доме сытого лакея к много о себе возомнившему крепостному того же барина.

Социальный идеал сталиниста Бортко почти полностью совпадает с социальным идеалом нынешней российской власти и (частично) элиты. Фильм «Собачье сердце» – гимн тому самому

«консерватизму», который для путинского режима стал заменой идеологии. Общество должно быть сословным. Женщины должны ходить в платьях. Прислуга должна прислуживать – и ее будут хорошо содержать. Наука существует только для того, чтобы продлевать сексуально активный возраст обеспеченных господ. Издеваться над властью можно – но за закрытыми дверями, дома, поедая обед из нескольких блюд, перед визитом в оперу, но выступать против власти – никогда. Иначе кто, кроме нее, выдаст ту самую знаменитую «окончательную бумажку», охранную грамоту, которая оградит это прекрасное житье-бытье от неприятных плебеев с их завиральными идеями о социальной справедливости?

И последнее. В этом рассуждении я принципиально не касался ни повести Булгакова как таковой, ни эстетических качеств сериала Владимира Бортко. Об этом пусть говорят филологи, киноведы и пламенные русские публицисты. Все, что меня здесь интересовало, – социальное и политическое содержание, месседж, который абсолютно недвусмысленно был послан режиссером Бортко некоторым группам советского общества 1988 года. Месседж был принят на ура и воспринят в качестве руководства к действию. Все получилось. Бортко прав – не будь Сталина, сегодня никого из них в их креслах не было бы.

Глава III
Ненужная профессия

Последний шанс истории

Ниже речь пойдет о вещах, интересных относительно узкой группе людей – профессиональным историкам и тем, кто серьезно интересуется знанием о прошлом. Также наперед хочу извиниться перед нынешними «действующими историками», теми, кто работает в этой области. Мои суждения по поводу причин, побуждающих людей заниматься в наши дни именно «историей», будут выноситься с некоторой дистанции. Автор – по образованию историк, провел полтора десятка лет, преподавая самые различные исторические предметы, однако потом «изменил» академической науке с другими видами деятельности. Пристальный интерес к истории и историкам у меня, конечно же, оставался и даже возрастал, однако всех социальных, психологических и экономических обстоятельств нынешнего состояния этой профессии в России я, конечно же, не знаю. С другой стороны, комбинация кое-какого опыта и возможности несколько отойти в сторону, чтобы ухватить взглядом сразу весь предмет интереса, – это ведь тоже чего-то стоит! В любом случае я попытаюсь быть объективным и вовлеченным одновременно.

У моей темы есть и иная сторона. Эта тема не столь узка и специальна, как кажется. Она имеет выход на уровень всего российского общества и всей постсоветской культуры. Действительно, в столь, казалось бы, неподходящее время молодые люди идут на исторические факультеты, потом учатся в аспирантуре, защищают диссертации и продолжают работать в образовательных и академических институтах в качестве профессиональных историков. В какой ситуации они оказываются? Что заставляет государство предоставлять им эту возможность – конечно, все в меньших масштабах и все с большей неохотой и даже легким презрением, но все-таки? Наконец, как сегодня российское общество относится к этому виду деятельности? Иными словами, я попытаюсь поговорить на вечную тему: что такое быть историком сегодня.

Итак, первый – и главный – вопрос, который стоит здесь обсуждать: кому и зачем, начиная примерно с 1990–1991 годов все это нужно? До того академическая деятельность, в том числе и в сфере гуманитарного знания, была частью иерархической социальной, культурной и политико-идеологической системы, которая была создана при Сталине и с некоторыми изменениями, довольно значительными, просуществовала до самого конца СССР. При всех сложностях, неприятностях и даже нелепостях, которые стояли на пути историка в то время, правила игры были

относительно понятны, экономическая сторона дела – тоже; в конце концов, и социальный статус кандидата, доктора наук, профессора (и уж тем более академика) был достаточно высок. Этот статус пусть и не был наилучшим с точки зрения зарплаты и распределения благ в послевоенном СССР, но его не назвать низким или даже средним. Научный сотрудник вызывал уважение в государстве пролетариата и трудового крестьянства. Наконец, профессиональный историк, филолог и иной гуманитарий, если он встраивался в эту систему (а совсем внесистемных профессиональных гуманитариев почти не было – особенно учитывая то, что для работы в архивах, библиотеках и т. д. требовались «корочки»), мог заниматься и фамильным воспроизводством своего статуса, создавая научные династии.

Все это рухнуло вместе с СССР. Система осталась – и даже в изрядно потрепанном виде жива до сих пор. Однако элементы, придававшие ей социальный и культурный смысл, (почти) исчезли. Прежде всего исчезло уважение других классов общества. При всей болтовне о «русской душе» и уникальной русской духовности, ставящей на первое место ценности нематериальные, быть бедным в современной России плохо. Очень плохо. И дело не в том, что даже остатки социального государства вызывают ненависть у политической и экономической элиты, единственным мировоззрением которой является довольно тупой и агрессивный социал-дарвинизм; просто в отсутствие подходящих серьезных идей и представлений их полностью заменяют деньги, этот действительно всеобщий эквивалент. Постсоветский социальный цинизм выражается в презрении к тем, у кого денег нет или мало. Учитывая, что все старые социальные связи разрушены, а из новых есть только одна – порука, связывающая часть бюрократии, полицию и верхушку прикормленных бизнесменов, отношения между членами общества и социальными группами имеют чисто количественное выражение, то есть денежное. В подобном мире, будто сочиненном какой-нибудь Айн Рэнд из офиса Газпрома, бедным очень плохо. А особенно плохо тем, кто бедность выбрал сознательно, в частности ученым-гуманитариям, историкам, как будущим, так и состоявшимся. Конечно, раньше тоже было нелегко и даже страшно, особенно в сталинские времена, но тогда важную терапевтическую роль как раз играли иерархия и общественное уважение. Среди погромщиков исторической науки сталинских и позднейших времен были отъявленные мерзавцы, но они не покупали ученых степеней, а полуграмотным головорезам и полусумасшедшим кликушам – почти – не вручали званий академиков. Сейчас же просто непонятно, зачем быть

историком, социологом или филологом, когда Мединский – доктор наук, а Кадыров – академик (пусть и ненастоящей академии), а также почетный профессор Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета. Конечно, тот, кто нужно, отделит почтенного археолога от джигитирующего академика с золотым пистолетом, но ведь социальный статус и престиж заключается не только – и не столько – в признании «своих». Подавляющее большинство населения страны не отличает РАЕН от РАН, а Современную гуманитарную академию от Российского государственного гуманитарного университета – и правильно делает. В этом неразличении – провал государства. Ведь задача государства заключается в том, чтобы поддерживать несложную, понятную и объяснимую иерархию всевозможных институций, существующих на деньги налогоплательщиков. Пусть немало из подобных институций в России как бы не чисто государственные, а только отчасти, но государство все равно их сертифицирует, вертикально распределяя по качеству образования, научной деятельности и проч. Однако эта сертификация столь же поддельная и мутная, как все усилия нынешней власти выглядеть заботливым контролером и осторожным реформатором. Думаю, доказывать этот тезис не нужно – достаточно следить за результатами деятельности «Диссернета». Большинство жуликов, купивших плагиаторские диссертации и «защитившихся», несмотря на все более суровые формальные требования, – государственные чиновники. То есть как раз те, кто призван сертифицировать, контролировать, приводить в рациональный вид исходя из интересов государства и общества.

Получается, что бедность, на которую обрекают себя сегодня те, кто профессионально занимается историей, оказывается еще горче, так как ее не подслащивает ни общественное уважение, ни даже самоуважение. К чему сидеть пять лет в университете, потом несколько лет в аспирантуре, вымаливать гроши на командировки, бегать по дурацким подработкам, экономить на всем, прекрасно понимая, что это вовсе не временное положение дел, в результате написать и защитить хорошую профессиональную диссертацию, зачем все это, когда какой-нибудь районный начальник станет кандидатом наук безо всяких хлопот, заплатив за несложную процедуру малую часть уворованных им денег? О докторской диссертации, профессуре и звании академика и говорить даже не буду – здесь дела еще печальнее и безнадежнее.

На вышеперечисленное накладывается немало других прискорбных обстоятельств. Прежде всего катастрофы,

произошедшие с самой областью знания о прошлом – с историей. Их несколько, и я их только бегло упомяну. Подчеркну, катастрофа в том, как именно российское общество представляет себе историю, какую роль оно – вместе с властью, между прочим, – отводит знанию о прошлом. Собственно, представление это состоит из двух элементов. От истории в первую очередь хотят, чтобы она развлекала; при этом публике (и власти) абсолютно наплевать на истинность фактов, событий и т. д. Перед нами тип сознания, выросший на голливудских фильмах и постсоветских конспирологических бреднях. Собственно, и «историком» теперь называют обычно либо условного теле-Радзинского, либо мрачного реконструктора, вроде небезызвестного Стрелкова, либо пропагандиста. То есть «историк» – не профессионал, положивший жизнь на кропотливое изучение сложных и малоизвестных проблем прошлого, нет, это поп-персона, трепач, обличитель, графоман. Соответственно, таковым может быть кто угодно – и ни специального образования, ни, старомодно выражаясь, «призвания», ни признания корпоративной этики от них не требуется. «Историк» – это тот, кто называет себя таковым, и больше ничего. Такое уже произошло – по праву, между прочим, – с профессией «политолога», это происходит с профессией «социолога» и даже «экономиста». Девальвация профессионального академического знания, как водится, происходит на фоне показного культа «профессионализма», который исповедует это странное общество. Слово «профессионал» имеет однозначно позитивную коннотацию, при этом профессионалов изгоняют практически отовсюду. И это не только проделки путинского режима, таков глас народа, точнее, его социокультурные ожидания. Тем легче для многих таким ожиданиям соответствовать.

Следующая неприятность произошла с «историей» изнутри. Я не буду здесь пересказывать историю западной историографии последних 150 лет; отмечу только, что фактически история перестала существовать в том виде, в котором она была в конце XIX века. Социальные науки, историческая антропология, гендерные штудии, постколониальные и прочие теории – все это заменило «традиционную историографию» в большинстве западных научных и образовательных институций. Многое из этого произошло и в России; более того, немалая и не самая худшая часть российских историков приняла активное участие в этом. Конечно, в стране есть немало и «традиционных историков», но положение их уж совсем незавидное. Одно дело ты занимаешься «гендерными аспектами Войны Алой и Белой розы», другое – сам*и*ми этими войнами, кто куда пошел, кто кого

поддерживал, какие были сражения и осады и что из этого вышло. В первом случае ты актуален (!), ибо твоя работа нужна обществу, волнуемому гендерными проблемами. В другом – ты сидишь в пыльном углу и никому не нужен. Соответственно, даже если историк первого и историк второго вида получают одну и ту же нищенскую зарплату в своем институте, то шансов получить грант – или даже найти издателя для своей книги – у первого значительно больше.

Я не собираюсь, конечно, утверждать, что традиционные историки – это благородно и хорошо, а «новые историки» – это неприлично и плохо. Довольно озлобленная нетерпимость, с которой традиционалисты относятся ко всему, что случилось после времен Ипполита Тэна и Василия Ключевского, внесла свою лепту в нынешний раскол. Я довольствуюсь тем, что на этот раскол укажу – он действительно существует и действительно определяет многое в профессии. И это при том, что первые (новые) без вторых (традиционных) существовать не могут – ведь кто-то должен поставлять материал для их масштабных построений и обобщений! Данное обстоятельство также не очень способствует миру в сфере академической историографии, особенно учитывая, что «традиционалисты» оказываются уже совсем внизу иерархии – они просто добывают руду, и все тут.

Но вернемся к обществу. Его запрос на историю, как говорилось выше, определяется двумя задачами – задачей развлечения и задачей идеологического поучения. На Западе первую задачу решают поп-историки, обычно хорошо пишущие и хорошо владеющие материалом. Их отличие от обычных академических историков (в ряде случаев – их отличие от самих себя в роли академических историков) заключается в том, что они могут позволить себе большие обобщения самого нехитрого толка, например моральные. Вторую задачу выполняют на Западе «новые» историки, специалисты по гендерным штудиям, постколониальным, проблемам культурных идентичностей и т. д. Обычно они находятся в авангарде идеологической «повестки дня» западного общества, иногда даже – очень далеко от основной армии, но именно они разведывают те позиции, на которых через какое-то время «повестка дня» укрепится, обрастет траншеями, редутами, блиндажами и прочим – если продолжать нашу военную метафору.

В России же все совсем не так. Хорошие поп-историки существовали в позднесоветское время – и причина их появления была довольно проста. Таким образом реализовывали себя одаренные гуманитарии, которым по той или иной причине не нашлось места в чисто академических рядах. Плюс к этому были

одаренные литераторы, могущие, благодаря странным позднесоветским возможностям, посвятить немалое свободное время изысканиям в архивах и библиотеках. Наконец, в стране тотальной цензуры, где прямое (не в самиздате или на кухне) политическое высказывание было немыслимо, хорошо написанная и довольно добросовестная книга, скажем, о декабристах или народовольцах, на таковое высказывание вполне тянула. Этим пользовались, конечно, не только советские интеллигентские либералы: вспомним расцвет «патриотической», а по сути «националистической» поп-истории в конце 1970-х – начале 1980-х. Сюда же можно отнести и краеведческие популярные истории, которых в те годы выходило немало, и даже такое известное в свое время сочинение, как «Память» Владимира Чивилихина. В свою очередь, среди образованных людей, которым до смерти надоела официозная советская историография, запрос на поп-историю (как и на историческую беллетристику) был велик. Все это опять-таки рухнуло после 1985 года. Позднесоветская поп-история была сметена потоком перестроечных публикаций и перепубликаций запрещенной литературы, а затем запрос на «всамделишную» историю почти исчез, оставив после себя не очень большой, но устойчивый рынок конспирологических сочинений и откровенно фашистских книг. Так что сегодня в России поп-история – это прежде всего именно такая литература, а потом уже все остальное. Сегодня ситуацию пытаются переломить модные образовательные и просвещенческие онлайн-проекты, вроде ПостНауки, Арзамаса и т. д., но – при всем благородстве намерений – они очень ограниченны, и социально, и тематически. Да и когда слушаешь/читаешь большинство выступающих там академических историков, становится ясно, что они мучительно пытаются говорить на ином языке, нежели их профессиональный. Получается далеко не всегда.

Что же до задачи идеологического поучения, то в России ее выполняют люди совсем другого склада – да и совсем другой профессии, – нежели на Западе. В нынешней России история нужна не для того, чтобы расширять пространство социально приемлемого и социально неприемлемого, а для мобилизации общества в изменчивых узкоэгоистических целях правящего режима. Функция истории времен Путина – держать общество во взвинченном состоянии, не оставлять его в покое, исключить складывание каких бы то ни было языков для обсуждения сегодняшнего дня и дня завтрашнего. Иными словами, и на Западе, и в России историей пользуются – но в разных целях. В первом случае – для упрочения общественной стабильности,

исключающей любую нетолерантность на социальном уровне. Во втором – для поддержания как раз социальной нестабильности (на уровне общественных реакций) – но для укрепления стабильности своей власти. Соответственно, и отношение к историческим фактам разное – от одержимости точными данными до полного равнодушия к достоверности. На Западе занятие историей превращается в важную социальную практику, необходимую для включения в общество все больших и больших разнородных этнических, политических, религиозных и прочих элементов. В России – для поддержания истерической национальной идентичности, мнимой, своего собственного содержания не имеющей и состоящей исключительно из реакций на внешние раздражители. То есть для того, чтобы определить «мы» как все то, что «не они». «Они» же обычно либо враги, либо недоброжелатели, а список их поминутно меняется в угоду политической конъюнктуре.

При всем уважении к первому варианту – и прекрасно понимая опасность второго – в обоих случаях история одинаково теряет собственное содержание, а занятия историей – смысл. Многие историки это отлично понимают, испытывая недоверие или даже брезгливость, в отношении подобных манипуляций с областью знания, которой они посвятили свою жизнь. В каком-то смысле сегодня – переломный момент в «истории истории» в России, и в содержательном отношении, и в отношении социальных, экономических и общекультурных обстоятельств существования профессии историка, воспроизводства кадров для этой профессии – да и производства и воспроизводства исторического знания как такового. Если не будет сформулирована необходимость изучения истории в качестве автономной сферы, самостоятельную ценность которой общество и власть будет признавать, то, как это ни печально, не останется ни единой причины, побудившей бы 17-летнего выпускника/выпускницу школы сдавать экзамен на исторический факультет. Да и самого такого факультета может не оказаться – его переименуют в Факультет международных отношений, православной культуры и русского менеджмента народных промыслов.

Этот текст я написал, перечитав взятое в 1991 году большое интервью выдающегося историка-медиевиста Юрия Львовича Бессмертного[14]. Я не буду пересказывать этот удивительный разговор, отмечу только, что там как раз очень наглядно дана мотивация сына репрессированного, молодого человека, получавшего техническое образование в годы войны, бросить все и заняться историей. Причем заняться в те самые годы, когда

обстановка – моральная, экономическая, идеологическая – в этой академической отрасли была самая невыносимая. И тем не менее он победил. Вот я и задался вопросом: а что бы с таким молодым человеком произошло сейчас, во времена, как говорила Ахматова, «вегетарианские»?

Кровь севастопольских вестей

В России почти не заметили 160-летнюю годовщину завершения Крымской войны. 18 марта по старому стилю (30-го по новому) 1856 года был подписан итоговый мирный договор (Парижский трактат), хотя сама международная конференция (Парижский конгресс) продолжалась еще почти месяц. Обсуждать на ней было что – завершилась первая крупная европейская война со времен окончания наполеоновской эпопеи. Впервые после 1815 года на поле боя одновременно встретились британские, французские, итальянские и русские солдаты. Более того, в Крымской войне к вышеперечисленным участникам добавились еще и турки. Между 1815-м и 1854-м в сражениях сходились французы с испанцами, русские с турками, но так, чтобы армии трех мощнейших государств Европы плюс армия единственной тогдашней ближневосточной империи оказались на расстоянии штыкового удара, – такого не было, кажется, никогда в Новой истории.

Еще одна удивительная особенность Крымской войны заключалась в том, что в ней армии всех перечисленных держав находились по одну сторону – кроме одной, конечно, которая оказалась по другую. Единственная большая европейская война последних 300 лет, где столкнулись не две коалиции, а коалиция и отдельное государство. И последнее, конечно же, проиграло. Действительно, нужно сильно постараться, чтобы в одиночку вступить в большой конфликт почти со всей Европой. Российская империя сделала для этого все возможное.

Ход и итоги Крымской войны хорошо известны, пересказывать их бессмысленно. Помимо академических и популярных исторических книг, а также всякого рода кинематографических затей, от картины Пудовкина об адмирале Нахимове до двух одноименных фильмов, посвященных легендарной «атаке бригады легкой кавалерии» под Балаклавой (американского 1936-го и британского 1968-го), можно представить себе маленький шкафчик в воображаемой библиотеке мировой литературы, где стоят «Севастопольские рассказы» Толстого, хрестоматийное стихотворение Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерии» и еще несколько вещей. Кстати говоря, было бы неплохо издать тщательно отобранную антологию текстов о Крымской войне, куда – помимо Толстого и Теннисона – вошли бы и отрывки из записных книжек князя Петра Андреевича Вяземского, и кое-какие рассуждения Петра Чаадаева, и стихотворение Редьярда Киплинга «Последний из

бригады легкой кавалерии», и многое другое, включая пару дюжин страниц из «Воспоминаний» Афанасия Фета. Во время Крымской войны Фет служил в кирасирском полку, который охранял от англичан балтийское побережье Остзейского края. Этот эпизод, к сожалению, мало известен как читателям стихов Фета, так и людям, интересующимся историей России, так что о нем стоит сказать здесь пару слов.

Фет выражает недоумение, отчего оборону приморских песчаных дюн от возможного десанта с английского флота, который полностью контролировал Балтику, поручили тяжелой кавалерии – ведь она ни скакать по песку не может, ни нормальных ружей не имеет, чтобы обстреливать высаживающуюся пехоту. Так или иначе, основная часть кирасирского полка была отведена подальше от берега, а у моря оставили лишь несколько наблюдательных постов. Офицерам, которых направили на эти посты, заняться было решительно нечем, разве что любоваться на английскую эскадру, дымившую трубами на горизонте. Так что, пишет Фет, «за исключением эскадронного командира, производившего по временам учения в разбросанных взводах, мы, субалтерн-офицеры, принуждены были коротать время охотою да чтением французских романов». Здесь, в отличие от Крыма и некоторых других мест, война велась не без приятности, хотя жертвы случались: «Что англичане, не решавшиеся на серьезный десант, дозволяли себе самые бесполезные выходки, мы знали, потому что между Ревелем и Нарвою высадились неприятельские стрелки, и когда единственными встреченными ими лицами оказались две бабы в поле, бросившиеся, разумеется, опрометью бежать, то стрелки сделали по ним залп и, убивши одну наповал, вернулись к своим шлюпкам». Сам поэт жил вместе с несколькими офицерами в небольшом флигеле на берегу; там, как водится, шла карточная игра, в которой наш благоразумный мемуарист не участвовал. Сослуживцы мешали ему спать – и, самое главное, мешали спокойно любоваться морем, читать французские романы и сочинять стихи. Так что Фет перебрался в отдельную беседку в саду, где и скоротал Крымскую войну. Впрочем, время от времени ему чудились английские десантники, но общего мирного настроения это не портило: «Чудные дни, чудные лунные ночи! Как приятно засыпать под лепет легкого волнения, словно под неистощимые сказки всеведущей бабушки. Но когда волнение возрастало, грохот отдельных волн до того становился сложен, что в нем ясно слышался как бы удар тяжело зашуршавшего по звонкому хрящу вдвинувшегося днища судна. Сколько раз случалось мне неохотно покидать нагретую постель и смотреть на

берег в небольшое окошечко. Ничего! Только белоголовые зайчики подымаются по всей дали в лунном сиянии». В эти чудные дни и чудные лунные ночи кирасирский офицер Фет писал такое:

Жди ясного на завтра дня.
Стрижи мелькают и звенят.
Пурпурной полосой огня
Прозрачный озарен закат.

В заливе дремлют корабли, —
Едва трепещут вымпела.
Далеко небеса ушли —
И к ним морская даль ушла.

Так робко набегает тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: минул день,
Не говоришь: настала ночь.

Но вернемся с относительно безмятежного балтийского театра военных действий Крымской войны к ее более беспокойным полям. Одно из таких полей – пропагандистская битва. Конечно, пропаганда не была новостью в европейских, да и не только, войнах – достаточно вспомнить англо-французскую «войну карикатур» конца XVIII – начала XIX века или пропагандистское стихотворное обеспечение подавления Польского восстания 1830–1831 годов русскими войсками. Даже Пушкин (а также Жуковский и Тютчев) не упустил возможности поупражняться насчет трагедии поляков. Он, как известно, сочинил «Клеветникам России» и, на взятие Варшавы Паскевичем, «Бородинскую годовщину». По поводу последней Вяземский гневается в записной книжке: «Будь у нас гласность печати, никогда бы Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича… Курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышь… И что за святотатство сближать Бородино с Варшавою. Россия вопиет против этого беззакония…». Что же, пропаганда всегда отличалась отсутствием вкуса, здравого смысла и морального такта.

Но уже 20 лет спустя, во времена Крымской войны, военная пропаганда вышла на совсем иной уровень. Это связано с развитием буржуазного общества и его важнейшего элемента – прессы. В Европе газеты и журналы становятся могущественным

орудием формирования общественного мнения, а политическое устройство государств – конечно, в разных странах в разной степени – позволяет критиковать действия правительств. Так что на голову английской, французской, итальянской, австрийской публики посыпались сотни карикатур, фельетонов, политических статей и международных обзоров самого разного уровня и самого разного направления. О событиях Крымской войны писал Маркс, поля ее сражений снимал пионер репортажной военной фотографии британец Роджер Фентон, а в окопах вокруг Севастополя работал, кажется, первый настоящий военный корреспондент в истории прессы, Уильям Говард Рассел, писавший для «Таймс». После того как французы дотянули телеграфный кабель до Черного моря, новости с театра военных действий доходили до Лондона за два дня. В России же, которая не только умудрилась ввязаться в войну без союзников, но и оказалась к ней совершенно неподготовленной, печать, конечно, не критиковала императора, министров и генералов с адмиралами – по одной простой причине. В стране, где царила цензура, высказывалось лишь одно мнение – и оно было понятно какое. Так что тем, кто понимал всю тяжесть ситуации, приходилось либо молчать, либо выражать недовольство в частных разговорах да в дневниках. В письмах такого предпочитали не делать – их читали в Третьем отделении.

Из того же, что цензура разрешала – и что было высочайше одобрено разными бюрократическими уровнями, – отметим стихотворение Василия Алферьева «На нынешнюю войну», опубликованное в 1854 году в официозной «Северной пчеле»:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.

Вдохновен его отвагой,
И француз за ним туда ж,
Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: Allons, courage!

Полно, братцы, на смех свету
Не останьтесь в дураках,
Мы видали шпагу эту
И не в этаких руках.

Если дядюшка бесславно

Из Руси вернулся вспять,
То племяннику подавно
И вдали несдобровать.

Альбион – статья иная —
Он еще не раскусил
Что за ма́шина такая
Наша Русь и в сколько сил.

То-то будет удивленье
Для практических голов,
Как высокое давленье
Им покажут без паров!

Знайте ж – ма́шина готова,
Будет действовать, как встарь,
Ее двигают три слова:
Бог, да родина, да Царь!

Несколько небольших исторических пояснений. Пальмерстон – министр, а потом премьер-министр Великобритании. «Француз», который «машет дядюшкиной шпагой», – Луи-Наполеон Бонапарт, французский император Наполеон III, племянник Наполеона I. Под словом «ма́шина», с ударением на первый слог, Алферьев имеет в виду паровой двигатель. Удовольствие, с которым поэт применяет этот довольно экзотический для него термин, говорит о многом в русской жизни того времени. «Машин» – с ударением на любом слоге – в стране было тогда немного. Кстати, Крымская война была последней для русского парусного флота – после поражения пришлось ставить на корабли пыхтящие «машины». Что же до «царя», то Николай Первый умер в 1855 году, униженный поражением, этим печальным итогом трех десятилетий, проведенных им на троне. Страна провалилась – экономически, политически, дипломатически, технологически; его сыну Александру пришлось начинать царствование с подписания неприятного мира, в ситуации дипломатической изоляции и финансовой полукатастрофы. Поражение в Крымской войне стало стартовой точкой в реформах Александра Второго. Николаем же были недовольны даже самые ярые русские патриоты, вроде предпочитавшего проводить жизнь за границей Федора Тютчева. На смерть императора он написал:

Не Богу ты служил и не России,

Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, —
Все было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Я бы добавил эту – тщательно скрывавшуюся поэтом – эпиграмму к нашей литературной антологии о Крымской войне.

Читатель этого текста уже, наверное, заметил, что, вспоминая Крымскую войну, автор до сих пор не провел ни единой исторической аналогии с современными событиями. Действительно, за что ни возьмись в той истории середины XIX века, все выглядит ужасно актуальным – само слово «Крым», дипломатическая изоляция России и неэффективность ее государственных механизмов, цензура, пропаганда, все, включая вечных, с точки зрения параноидальных конспирологов, врагов России – Британии и Турции. Но никаких аналогий читатель здесь не найдет. Аналогии затемняют суть дела, не дают понять смысла как событий, случившихся в 1856 году, так и того, что происходит сегодня, в 2016-м. Здесь все разное – и страны, и политика, и технологии, и общественное сознание. Однако нынешнее российское представление об истории таково, что в нем одновременно разыгрываются самые важные для него события прошлого: и Куликовская битва, и Смутное время, и революция 1917 года, и Великая Отечественная. Ну и там же, на одной сцене, будто в «Поп-Механике» Сергея Курехина, где рядом с хармсоподобным шоуменом Олегом Гаркушей можно было увидеть советского крунера Эдуарда Хиля, разыгрывается Крымская война. Для исторического сознания современного россиянина нет «истории» как таковой, все происходит здесь и сейчас, точнее в вечности, всегда. «Альбион» всегда «коварный» и всегда ведет «Большую игру» где-то там на неведомом Востоке, Турция всегда жаждет крови христиан и попирает ногой святыни Св. Софии, ну а «недовольные» (словечко в 1840-х придумал поэт Николай Языков, высмеивавший тех, кто посмел не иметь общего с властью мнения) всегда подрывают устои. Такому сознанию, при всей его одержимости историей, история, как таковая не нужна. Оно интересуется только самим собой – и своей паранойей.

Оттого один из немногочисленных нынешних медийных комментариев по поводу Парижского трактата[15] в качестве причин Крымской войны указывает нечто экзотическое, из геополитических прозрений Дугина и Жириновского: «Великобритания и Франция жаждали укрепить позиции на

Ближнем Востоке, а также заполучить территории Польши, Крыма, Кавказа и Финляндии». Вот так и никак иначе. В голове научного обозревателя Газеты. Ru разыгрываются невероятные баталии в духе новомодных компьютерных игр – и вот уже Франция оккупирует Финляндию, а Великобритания – Польшу. Ну а комментарии к этому академическому мини-исследованию будто написаны самими же авторами статьи: «Вот и не врите. Потери союзников были еще ужаснее. Вообще это мировая война была, Россия от всего мира отбивалась фактически». Все верно. Потери противника были ужаснее русских, Россия на самом деле выиграла эту первую в истории мировую войну, а капитуляция Севастополя – военная хитрость, нацеленная в далекое будущее. Просто русский главнокомандующий князь Меншиков, тот самый потомок петровского фаворита, уже предвидел грядущий 160 лет спустя волнующий момент, когда севастопольцы под бдительным присмотром вежливых путинских человечков без свойств отберут город у Вселенского Супостата к вящей славе Вечной России.

Если же вернуться к настоящей истории, то Крымская война – последняя, в которой Россия сражалась с Британией и Францией, в этой войне участвовала первая в истории сестра милосердия, а также, наверное, впервые в хирургических операциях в полевых условиях была применена анестезия. Британские солдаты придумали специальную вязаную шапку и назвали ее balaklava. Впрочем, конспиролог и здесь нащупает нить всемирного антирусского заговора – ведь в таких шапках *Pussy Riot* плясали в ХХС.

И в завершение – еще один текст для нашей литературной антологии. Тютчев – не отставной дипломат, сочинявший жалкие официозные стишки и трактаты против революционной европейской заразы, а волнующий, торжественный и горький русский поэт написал 13 августа 1855 года:

Вот от моря и до моря
Нить железная скользит,
Много славы, много горя
Эта нить порой гласит.

И, за ней следя глазами,
Путник видит, как порой
Птицы вещие садятся
Вдоль по нити вестовой.

Вот с поляны ворон черный
Прилетел и сел на ней,

Сел и каркнул и крылами
Замахал он веселей.

И кричит он, и ликует,
И кружится всё над ней:
Уж не кровь ли ворон чует
Севастопольских вестей?

Забытые авторы русской свободы

Речь здесь пойдет о двух вроде бы далеких друг от друга событиях 2016 года, которые тем не менее складываются в примечательный сюжет. Сюжет этот имеет отношение к русской культурной традиции, прежде всего к литературе так называемого «золотого века», от Пушкина до Чехова. Поговорим о том, как она воспринимается носителями этой культуры – или, точнее, теми, кто объявляет себя таковыми, – и о том, как ее видят люди совсем с другим историческим, литературным, общественным опытом.

7 апреля 2016 года на сайте британской «Гардиан» в разделе книжных блогов опубликован текст писательницы и журналистки Фиби Таплин[16], живущей, если верить биографической справке, в Дели, Берлине и Москве. Таплин, плюс ко всему, автор пешеходного гида по российской столице; есть резон предполагать, что она знает русский язык и погружена в русскую культуру, как современную, так и старую. Ее блог озаглавлен «Писатели, которых русские не читают, а вы должны это сделать». Основываясь на опросе Левада-центра, Таплин рассказывает читателям «Гардиан» печальную историю того, как жители РФ отвернулись от прекрасных собственных современных писателей, предпочтя им своих классиков. В топ-десятке самых любимых россиянами авторов – Толстой с «Войной и миром» и «Анной Карениной», Достоевский с «Братьями Карамазовыми» и «Преступлением и наказанием», Чехов с «Дядей Ваней», «Тремя сестрами» и рассказами, и далее по списку Пушкин, Гоголь, Шолохов, Булгаков, Тургенев, Горький и Лермонтов. Фиби Таплин спрашивает: а где же современные авторы? Где Людмила Улицкая и Мария Степанова? Где Пелевин и Сорокин? Где, наконец, Олег Павлов? Британской журналистке не приходит в голову, что все вышеперечисленные находятся там же, где затаились Державин и Тютчев, Фет и Лесков, Герцен и Гончаров, Андрей Белый и Александр Блок, Набоков и Хармс. Они – вне базовых, опорных точек школьного курса литературы.

Конечно, невозможно без уважения относиться к литературным вкусам современных менеджеров среднего звена, офицеров полиции, сотрудников городских администраций, продавцов супермаркетов, дантистов, таксистов и работников многочисленных охранных предприятий, однако сложно себе представить, что большинство из них, вернувшись домой, раскрывают потрепанный томище толстовской эпопеи или карманное издание колониальных похождений Печорина или

перед тем в метро разворачивают на экране киндла пьесу Горького «На дне». Эти сочинения мало кто перечитывает(да и просто читает), зато их помнят – как нечто солидное, освященное временем и традицией, дарующее высокий социокультурный статус и, что в сегодняшней России самое главное, определяющее национальную идентичность. Идентичность эта представляет собой огромную кучу самых разнообразных культурных и социальных артефактов, абсолютно потерявших всякий смысл для нынешнего россиянина. Здесь же, среди прочего, мы обнаружим в знаменитую русскую «православность». Последняя – один из ключевых элементов «русской национальной идентичности», и при любом опросе многие граждане РФ с охотой говорят о том, что они православные. Однако стоит повернуть вопрос по-иному, выясняется, что в церковь они не ходят, Библию не читали, о Символе веры имеют самое отдаленное представление, а некоторые и вовсе не верят в Бога. Примерно то же место, что и православная церковь, в современном российском сознании занимают Толстой с Достоевским.

Вообразим себе общество, которое в действительности имело бы литературные вкусы, этические, эстетические и социальные представления, вытекающие из составленной Левада-центром литературной топ-десятки. Это общество было бы идеальным – с его приятием толстовской проповеди равенства и справедливости, с достоевским идеалом страдающего за истину Христа, с дендийной печоринской брезгливостью ко всякой пошлости, наконец, с европеизмом Тургенева. Увы, российское общество не очень похоже на это описание. Из списка выбиваются разве что две фамилии – Шолохов и Булгаков. Первый в топ-десятке отвечает за условную «народность», второго – я имею в виду «Мастера и Маргариту» – действительно много читают, в отличие от вышеперечисленных. Отмечу также, что, кроме Шолохова (и промежуточного Булгакова), в перечне любимых российских авторов нет ни одного советского писателя – впрочем, эмигрантских тоже нет. Культура, Высокая Литература – это то, что было очень давно, по возможности до революции, ее учат в школе, ее надо предъявлять посторонним при случае – а самим время от времени твердить имена Великих на манер Отче наш. Собственно, некоторые перформансы Дмитрия Александровича Пригова, кое-какие ранние тексты Владимира Сорокина, а также его относительно недавняя «Метель» и есть пародия на этот великокультурный Отче наш.

Современных же писателей в России на самом деле читают – и живых, и покойных. Есть романы для всех разумеющих грамоту, вроде сочинений Донцовой, есть беллетристика для

программистов (Пелевин), есть трудолюбивая имитация позднесоветской интеллигентской литературы (Быков, Улицкая), есть, наконец, писатель Прилепин, который сразу и новый Горький, и новый Л. Леонов, и даже новый Иван Михайлович Шевцов, автор романа «Тля». За пределами вышеописанного мейнстрима – тысячи авторов, занимающих ниши, созданные российским книжным рынком. Фэнтези, фантастика, конспирологический бред на исторические темы, ментовские романы и бандитские, любовные и подростковые – что угодно. Уверен, все это на самом деле читают гораздо больше, нежели «Войну и мир» или «Отцов и детей», не говоря уже о пьесе Гоголя «Женитьба» (вместе с «Тарасом Бульбой» разделяет пятую позицию в топ-листе Левада-центра).

Ничего плохого в этом нет. Французы не читают Монтеня больше Уэльбека, а британцы вряд ли зачитываются Томасом Гарди в ущерб Джоан Роулинг. Но они и не будут трусливо называть хрестоматийных авторов в качестве своих самых любимых. На самом деле именно здесь проблема, а не в том, что, как утверждает Фиби Таплин, российское общество консервативно в своих литературных пристрастиях и всегда предпочтет общепризнанное неизведанному. В том, что практически любой опрос в России на тему любимых книг вызовет примерно такие ответы, сомневаться не приходится. Интереснее говорить о причинах скрытности россиянина, его нежелания раскрывать – вовсе не постыдную – правду.

Но у проблемы, затронутой Таплин, есть и другая сторона. Какую роль играет «великая русская культура» в нынешнем российском обществе – если вообще какую-то играет, кроме названной выше инструментальной? И может ли взгляд на нее из Британии помочь хотя бы чуть-чуть восстановить актуальность русской классической литературы XIX века, да и всей культуры того времени?

Здесь мы обратимся еще к одному событию последних недель, прошедшему совершенно незамеченным. Ровно 20 лет назад в лондонском издательстве «Chatto & Windus» вышел сборник эссе знаменитого историка идей и культуры Исайи Берлина «The Sense of Reality. Studies in Ideas and their History» («Чувство реальности: исследования идей и их истории»)[17]. Автору к тому времени было 87 лет, жить ему оставался один год. В книгу вошли ранее не публиковавшиеся сочинения, прежде всего переработанные тексты его лекций. Берлин был знаменит не как регулярный дисциплинированный академический ученый – его жизнь вместила множество сюжетов, свершавшихся в самых разных сферах жизни, от политики до науки и даже высшего

общества. Он был, как сказал бы философ Александр Пятигорский, в чем-то с ним схожий, «человек разговора», оттого самые лучшие тексты Берлина сохраняют интонацию живой, насыщенной разного рода интересными вещами и соображениями, интеллигентной беседы. Берлин в своих эссе именно рассуждает– и проделывает это на наших глазах. Он, несмотря на свое небританское происхождение (из еврейской семьи в дореволюционной Риге), типичный продукт британской культуры – артикулированный, логичный, слегка ироничный, поклоняющийся здравому смыслу. Никаких завиральных – или сверхрадикальных, крайне оригинальных – идей у Исайи Берлина не найти, чаще всего он говорит вещи очевидные. Но в британской культуре действительно принято говорить очевидные вещи, поместив их в самый здравомыслящий порядок; здесь не принято оскорблять читателя хаотическим нагромождением непонятного или бормотанием на птичьем псевдофилософском жаргоне, зато повторение известного – с немалыми вкраплениями неизвестного, но подготовленного к восприятию – считается плодотворным. Не всегда это срабатывает, но в случае Берлина – очень часто.

Особенно интересно читать Исайю Берлина русской аудитории. Дело в том, что Берлин не просто родился и провел детство на территории Российской империи, его одержимость русской культурой – особенно XIX века – известна. Не буду здесь пересказывать общеизвестные факты, вроде его работы в британском посольстве в Москве и роковой встречи с Ахматовой. В данном случае интересно другое – то, что Берлин очень много думал, говорил, писал о Белинском, Герцене, Толстом и многих других. Толстой был одним из главных героев его лучшего эссе «Еж и лиса». В том же обстоятельстве, впрочем, содержится и немалая опасность. Для Берлина русская культура была – при всей его любви к ней – чужой. Он думал о ней, он ее изучал, он ее в каком-то смысле истолковывал англоязычному читателю, но все же делал это с дистанции. Более того, следуя британской традиции (да и не только британской, надо сказать), он должен был пересказывать своей публике очевидные вещи – очевидные для тех, кто живет внутри русской культуры, скажем для советской и части постсоветской интеллигенции. Оттого многие в постсоветской России, загипнотизированные историями о великом «сэре Исайе Берлине» (вспомним хотя бы знаменитое эссе Бродского), ознакомившись с его текстами, были разочарованы. Есть даже легенда, что журнал «Знамя» в 1992 году отказался печатать перевод эссе Берлина «Рождение русской интеллигенции» на том основании, что в нем нет ничего нового,

все факты и суждения давно известны. Так что двухтомник Берлина, один том которого был посвящен России, вышел в Москве лишь в 2001 году[18].

В этом двухтомнике мы и находим текст, впервые напечатанный в 1996 году в «The Sense of Reality. Studies in Ideas and their History». Он называется «Artistic commitment: A Russian Legacy», на русском это звучит немного по-иному: «Обязательства художника перед обществом. Русский вклад в мировую культуру». Сложно сказать, что заставило переводчика довольно далеко отойти от смысла заголовка, все-таки и «commitment» в данном случае, как мне кажется, означает скорее «вовлеченность» (в «жизнь» вообще, не только в общественные страсти), ну а «Russian Legacy» – это совсем не «Русский вклад в мировую культуру». Речь-то в эссе идет о «наследии вовлеченности художника», которое оставил русский XIX век, а не о каком-то «вкладе». И это наследие имеет равное значение как для Запада, так и для самой России.

Не буду пересказывать здесь содержание текста Исайи Берлина, он вполне доступен и в оригинале, и в переводе (учитывая, что двухтомник в 2014-м переиздали, немного расширив). В нем содержатся все любимые идеи и рассуждения автора о русской культуре и русской интеллигенции. Главный герой «Artistic commitment» – литературный критик Виссарион Белинский, да, тот самый, которым мучили поколения советских школьников. Белинский – одна из жертв русской и советской истории литературы, несгибаемый борец с несправедливостью, создатель нынешней иерархии русской литературы, на вершине которой стоит Пушкин; он – прогрессивный толкователь Гоголя, открыватель Достоевского и многое иное. Цитатами из Белинского нашпигован любой советский и российский учебник литературы, его изможденный лик взирал на школьника и студента в коридорах и в классных комнатах, он – отец концепции «натуральной школы» – был объявлен в СССР одним из первых революционных демократов, предтечей Чернышевского и предпредтечей Ленина и Горького. Всего этого вполне хватало, чтобы любой образованный человек, имевший хотя бы минимальные расхождения с советской властью, а также чуть ли не каждый литератор, рискнувший отклониться от «социалистического реализма» (да и «реализма» вообще), смотрел на несчастного Белинского с отвращением. То же самое произошло со многими другими героями советского школьного курса литературы и истории; бедный Герцен, к примеру, навсегда остался в памяти как ленивый заспанный барин, которого – будто Илью Муромца – разбудили суровые декабристы; проснувшись, он

тут же схватился за свой колокол и принялся звенеть на весь мир.

Так вот, Белинский и Герцен – любимые герои Исайи Берлина. Он видит в них – по вполне понятным причинам – не школярские комические персонажи или серые пропагандистские тени, а настоящих мыслителей, людей, впервые сформулировавших на русском языке идею общественной свободы. Берлин снимает с них незаслуженный титул «предтечи Ленина» и возвращает в их собственный историко-культурный контекст. И выясняется, что сегодня читать Белинского и Герцена исключительно интересно – и полезно даже тем, кто специально не занимается русской историей или литературой.

Оставим Герцена в стороне, отметив лишь, что он не только отец русского социализма и неподцензурной прессы; его «Былое и думы» вообще одна из главных русских книг позапрошлого века. О Герцене в то же время, что и Берлин, но помимо и независимо от британца много размышляла Лидия Гинзбург, увидев в нем исключительно современного писателя. С Белинским такого не произошло. Он утонул в тысячах официозных советских работ, среди которых изредка попадались исключительно достойные, требующие сегодня самого пристального внимания, но их мало, и они сделаны по строгим профессиональным лекалам, что отпугивает неспециалиста. Исайя Берлин не просто «воскрешает» Виссариона Белинского, он показывает его европейцем, русским европейцем, включенным в международные политические, эстетические и философские споры 1820 – 1840-х годов. На фоне французских социалистов-сенсимонистов или сторонников «чистого искусства», вроде Теофиля Готье, Белинский смотрится своим. Он – один из героев интеллектуальной драмы первой половины XIX века, когда формулировались главные положения уже нынешнего, нашего мира. В этом его актуальность, а не в том, что он разом восхищался Пушкиным и утверждал следующее: «Теперь искусство – не господин, а раб; оно служит посторонним для него целям».

Берлин анализирует в «Artistic commitment» трансформацию взглядов Белинского и не находит в них ровным счетом ничего, что можно было бы счесть «предтечей» чугунного соцреализма и жалкой версии марксистской эстетики, которую исповедовали в СССР. Белинский не враг свободы, а ее создатель, ибо свобода не приходит сама, ее надо определить словами, высказать, сформулировать и затем уже следовать этим убеждениям. Вот чем занимались Белинский, Герцен и другие русские герои Исайи Берлина, включая, конечно, Льва Толстого. По сути дела, Берлин предлагает нынешнему российскому либералу, социалисту, просто честному человеку, ненавидящему несвободу и

несправедливость, его собственную родословную, родом из той самой классической русской культуры, которую преступно плохо преподают в школах и университетах.

Если взять немного шире представлений Берлина – русская свобода имеет глубокие собственные корни, и корни эти питались европейскими соками. Именно в данной точке утверждение «Россия – это Европа» неопровержимо. Не жалкие литературные критики, выясняющие, кто из писателей лучше подходит текущему моменту, не диковатые бородачи, зовущие Русь к топору, не экзотические мистики, которых невозможно по достоинству оценить из-за крайней мутности их речей, – нет, это культурные деятели, которые создали в России язык общественной дискуссии. А без этого языка невозможно общество – и невозможен разговор о свободе.

То, что все они забыты в России – а книги Исайи Берлина, по сути, здесь не прочитаны, – дает ответ на вопрос, поставленный в начале нашего эссе. Забвение традиции русской демократической свободы (даже, используя формулировку Джорджа Оруэлла, «русского демократического социализма») привело сегодня к тому, что языка общественной дискуссии в нынешней России практически нет. Он – по обе стороны политических баррикад – заменен на смесь пропагандистской риторики и панибратской задушевности. Российское общество не чувствует себя укорененным в собственном прошлом, которое к тому же изображают ему как череду царей, попов и великих деятелей культуры. К первым интерес еще есть – там же интриги, адюльтеры, заговоры, в общем, тут еще можно поживиться обычному человеку. Насчет вторых, наоборот, все непонятно, как непонятен церковный ритуал для большинства людей, называющих себя в России «православными». Но зато это привычно. А вот Деятели Великой Русской Культуры – тут иное, про них в школе рассказывали, фамилии их худо-бедно сохранились в голове, да и названия кое-каких хрестоматийных произведений. В общем, если что – можно их упомянуть. Только вот сказать о них, о Толстом, Достоевском или Чехове, нечего, так как язык такого разговора, созданный великими современниками этих великих писателей, надежно забыт. Разве что можно сходить в Москве на постановку «Берега утопии» Тома Стоппарда. Там Белинский и Герцен, Бакунин и Станкевич чуть ли не сошли со страниц Исайи Берлина. Ну хотя бы так. Все лучше, чем читать в сорокинской «Метели» перемолотые в паранодиальный бред монологи героев Толстого и Чехова.

Два неточных юбилея

Эти революции сходятся лишь в двух пунктах – все остальное совсем разное. Оба странных соответствия имеют отношение к исторической памяти и тому влиянию, которое эти события оказали на последующую жизнь стран, где они произошли. Речь идет о Пасхальном восстании в Дублине 1916 года и Октябрьской революции в России 1917-го.

Начну с первого пункта. Это касается дат, хронологических рамок обеих революций и того, когда именно стали отмечать их годовщины. Как явствует из названия, Пасхальное восстание произошло на Пасху 1916-го, оно продолжалось пять дней, с 24 по 29 апреля. Вооруженная попытка (пусть и трагически провалившаяся) сбросить власть Британии стала вехой в историческом сознании ирландцев XX века и важнейшим элементом конструирования идеологии национального государства. Более того, в каком-то смысле Пасхальное восстание до сих пор определяет национальную и даже культурную идентичность ирландцев. Оттого годовщины – и особенно юбилеи – этого события празднуют с размахом. В 2016-м восстанию исполнилось сто лет – и празднества были самыми, по местным скромным меркам, грандиозными. Военный парад, манифестации, флаги и плакаты, толпы, речи политиков, статьи в газетах (к примеру, знаменитая The Irish Times всю неделю только об этом и писала) и, конечно, телевидение, радио, онлайн-издания, споры в сетях – все это уместилось в несколько дней в конце марта – начале апреля, с 25.03 по 02.04, от Страстной пятницы до первого понедельника после Пасхи. На первый взгляд все верно – ведь восстание-то Пасхальное.

Однако, если вдуматься, ситуация довольно странная. Республика Ирландия (*Poblacht na hÉireann, Republic of Ireland*) – светское государство, пусть и с сильным католическим влиянием. Соответственно, она живет по светскому календарю и то, что произошло 24–29 апреля, должно, по идее, отмечаться в эти же дни. Однако это не так. В 1948 году, когда Ирландское государство приняло современный вид, устройство и название, было установлено, что военный парад по поводу годовщин и юбилеев Пасхального восстания будет происходить на Пасху. У этого решения есть резоны.

Прежде всего, тем самым определялся – даже в каком-то смысле восстанавливался – изначальный символический смысл этого события. Повстанцы, как отмечают многие современники и позднейшие исследователи, понимали, что успеха они вряд ли

добьются. Скорее это было массовое принесение в жертву себя (и окружающих) с тем, чтобы побудить всех ирландцев начать по-настоящему бороться за независимость. Само восстание оказалось локальным, и участников было немного – в Дублине чуть более тысячи. При этом отношение большинства местного населения к революционерам оказалось прохладным, если не сказать враждебным. Однако в конце концов выиграли не подавившие выступления британцы, а именно революционеры. Казни и преследования сыграли свою роль – 14 расстрелянных руководителей революции чуть ли не мгновенно обрели в общественном мнении статус мученика, оставшиеся в живых участники событий превратились в просто героев, а власти метрополии – в палачей. И это несмотря на то, что репрессии были довольно ограниченными по тогдашним масштабам; достаточно вообразить себе, что бы сделали с восставшими где-нибудь в Германии или России – в самый разгар Первой мировой, учитывая, что заговорщики получали прямую политическую и военную поддержку от врага. Естественно, аналогии с мученическим концом Христа, с содержанием праздника Пасхи даже не напрашиваются, нет, на них было намеренно указано лидерами восстания самим фактом выбора даты его начала. Соответственно, празднование годовщин Пасхального восстания в разные светские календарные дни, но непременно на Пасху – подтверждение христоподобного статуса героев и признание справедливости их идеологического месседжа.

Во-вторых, сам символический характер Республики Ирландии определяется выбором даты праздника. Новая независимая Ирландия родилась, погибнув в конце апреля 1916 года. То есть она сама – воплощение страстей Христовых, она есть истинно христианская страна, ибо в акте своего появления подражала Иисусу. Это очень важное обстоятельство, которое – отметим еще раз – вроде бы противоречит светскому характеру этого государства. Однако все не совсем так. Не забудем, что колонизация острова англичанами (точнее – англо-нормандцами, к которым присоединились фламандские и даже валлийские колонисты) началась еще во второй половине XII века. Пусть до XVII века англичанам прямо не принадлежал весь остров, но даже местные вожди, сохранившие свои владения, все равно приносили присягу короне. Более того, «Ирландии» как единого независимого государства не существовало до появления на острове «оккупантов» – соответственно (как и в случае Индии), собственная государственная идентичность стала следствием колониального периода. Эта идентичность, если мы говорим об Ирландии, требовала «наполнения» – и первым из двух главных

ее элементов стал католицизм. Гонения на католическую церковь со стороны англичан-протестантов сделали ее синонимом «ирландскости». Понятия «истинной веры» и «подлинной Ирландии» здесь совпали.

Вторым основным элементом ирландской национально-государственной идентичности Нового времени стал ирландский язык и основанная на нем культура, прежде всего литературная традиция. Ирландский язык был фактически запрещен британцами и ко второй половине позапрошлого столетия оказался на грани исчезновения. Деятели «Ирландского Возрождения» возрождали прежде всего язык; соответственно, лингвистический вопрос с самого начала стал вопросом социальным, политическим, идеологическим. Идейный лидер Пасхального восстания Патрик Пирс, один из 14 республиканских мучеников, был именно культурным деятелем, педагогом, неистовым пропагандистом ирландского языка. Но логика борьбы за свой народ привела его на баррикады. Логика эта известна – она двигала почти всеми националистами второй половины XIX – начала XXI века. Только до 1918-го эти люди воспринимались (и до сего дня воспринимаются) как герои, а вот после конца Первой мировой их (совершенно на самом деле не изменившаяся) позиция оказалась уже близка к фашизму. Вспомним хотя бы Радована Караджича, или нынешних «защитников русского языка на Украине».

Итак, быть ирландцем значило быть католиком и говорить на ирландском; в каком-то смысле для многих в Ирландии это до сих пор так. Соответственно, католицизм – способ национальной идентификации, примерно как сегодня в России – православие. Поэтому «Пасха 1916 года» – не просто общехристианская Пасха, это специальная «ирландская Пасха», где страсти Господни слились со страстями Республики. В таком случае церковный календарь теряет свой всеобщий христианский характер и становится Национальным Календарем, который гораздо важнее обычного, универсального, западного, светского. Восстание 1916 года – Пасхальное, а не Апрельское, оттого оно Ирландское, а не просто одно из многочисленных событий в процессе распада империй в XX веке.

Через полтора года после Пасхального восстания в Дублине в России произошла Октябрьская революция. Мы не будем здесь обсуждать, какие именно события случились 25 октября 1917 года в Петрограде, – об этом написано очень много. Напомню лишь одно обстоятельство, впрочем тоже общеизвестное. До относительно недавнего времени в СССР годовщины и юбилеи Великой Октябрьской социалистической революции отмечали с

несоизмеримо большей помпой, нежели подобные события в Ирландии, – 7 ноября. За Октябрьскую революцию пили в ноябре. Вот здесь две революции – ирландская и русская – сходятся, в факте хронологической путаницы и в факте того, что эта путаница в обоих случаях была следствием очевидного идеологического расчета. Об Ирландии мы только что говорили, посмотрим, как обстояло дело в СССР.

Формально все понятно: 25 октября – по «старому» (юлианскому) календарю, а 7 ноября – по «новому» (григорианскому). Конечно, забавно, что один из двух существовавших много веков календарей определяется как «новый» по отношению к другому, столь же неновому, но для России это было именно так. Можно, конечно, приписать существование до начала 1918 года собственного церковного календаря особой русской богомольности, традиционности и прочему, однако все гораздо прагматичнее. После реформ Петра Великого Русская православная церковь стала государственной институцией, соответственно, ее календарь превратился в «календарь Империи», потеряв какой-либо церковный смысл. Календарь, как и сама православная церковь со светским обер-прокурором во главе, стал элементом государственной идентичности, а начиная с Александра III, который принялся поощрять русский национализм (что в перспективе привело к распаду империи), – и национально-государственной идентичности. То, к чему стремились ирландские республиканцы, к тому времени уже давно было частью российской имперской идеологии. «Русский без православия – дрянь, а не человек», как выразился Достоевский. В этом известном высказывании классика не следует, однако, видеть обычную ругань в отношении неправославных русских. «Дрянь» в то время значило немного другое; у Даля читаем: «*дрянь* – собират. сор, мусор, хлам, грязь, нечистота; все никуда негодное, ветхое, плохое, ничего не стоющее». То есть, по Достоевскому, неправославный русский прежде всего негодный, плохой русский, отпавший от большого народного тела, ставший сором. Более красноречивого определения национальной идентичности посредством искажения религии, которая на самом деле стоит на идее универсального и всеобщего, представить невозможно.

Итак, «старый календарь», «старый стиль» – о том, что Россия есть Империя, что Империя есть Православие, а принадлежность к России и Православию, за небольшим исключением, совпадает. Октябрьская (по старому стилю) революция – о том, что со всем этим особенным, национально– и религиозно-ограниченным отныне покончено. Большевики устраивали не переворот и даже

не захват власти в отдельно взятом городе или стране. Они нацелились на Мировую революцию, которая избавит человечество от эксплуатации, национальных границ и, конечно же, от странных заблуждений под названием «религия». Одним из шагов к этому стал переход на всеобщий календарь, на григорианский, который опять-таки не имел уже никакого церковного значения и указывал лишь на принадлежность к человечеству целиком. Потому праздновать годовщины и юбилеи Октябрьской революции решили не в октябре (когда она произошла, ведь тогда в действии был еще «старый стиль»!), а в ноябре, то есть в мировом масштабе.

Пасхальное восстание возвращало ирландский народ как бы «домой», «к себе», в собственную изобретенную деятелями «Кельтского Возрождения» идентичность и собственную отгороженную от Британской империи и от мировой войны жизнь. Октябрьская революция «выставляла» русский народ и прочие народы бывшей империи в Большой Мир, она переводила русскую историю на уровень всеобщей – и давала пример всему человечеству объединить усилия и наконец-то построить счастливое будущее. Обе интенции остались нереализованными, только в разной степени. Ирландия, слава богу, стала европейской страной, а не «чисто ирландской», хотя путь ее был тяжел и включал в себя гражданскую войну, строительство странного чиновничье-националистического государства, многолетнее господство одной партии, бедность и многое иное. Жертвы героев Пасхального восстания не были напрасными – Ирландия (пусть и не вся) действительно получила независимость, но в результате вышла далеко не та Ирландия, о которой мечтали революционеры. Русские большевики, казалось бы, тоже победили, но не надолго. Сначала их почти всех поубивали в 1930-х – уже другие люди, которые всеобщность коммунизма и социальной справедливости подменили созданием новой, квазироссийской империи. Но память «героев революции» еще чтили, вычеркнув, впрочем, по ходу дела почти их всех персонально из революционных святцев.

Главное же изменение в России произошло после 1991 года – или, пожалуй, происходит сейчас. Пафос всеобщей справедливости и счастья всего человечества кажется не только неуместным нынешней российской власти, да и населению, он для них психологически невыносим. Во-первых, счастье должно быть только «у нас», а справедливость еще уже – «для своих», да и то по обстоятельствам и «по понятиям». Во-вторых, идентичность постсоветского россиянина определяется сегодня точно так же, как идентичность ирландского повстанца 1916-го – через

превратно воспринятую религию (православие) и через столь же странно понимаемые собственный язык и культуру. Всемирный проект русского коммунизма непонятен, враждебен и даже опасен для нынешней России (и, что самое смешное, особенно для нынешних российских коммунистов). С другой стороны, ведь непременно надо гордиться «великим прошлым»! А Октябрьская революция – это, пожалуй, и есть самое великое прошлое для России – ни одно другое событие русской истории не оказало такого влияния на весь мир. Получается, что Ленин (но не сомнительный еврей Троцкий) – это, с оговорками и ужимками, наше все, примерно как убитый им Николай Второй. Конечно, оба они проигрывают великому Сталину, который идеально ложится в новые представления о великом прошлом и настоящем России; но надо же быть справедливым – ведь без Ленина не было бы и Сталина. Так что отдадим Ильичу должное и отпустим с миром.

Примерно в таких пределах мечется путинская идеологическая обслуга, когда она размышляет о том, как бы извлечь побольше пользы от грядущего в ноябре 2017 года юбилея Октябрьской революции. Думаю, эти люди должны завидовать своим ирландским коллегам – у тех были проблемы, но весьма скромные.

P.S. В 1916 году темы обеих революций – национальная и универсальная – сошлись в статье Ленина, который пересиживал войну в нейтральной Швейцарии. Вот что он писал: «Ибо думать, что мыслима социальная революция без восстаний маленьких наций в колониях и в Европе, без революционных взрывов части мелкой буржуазии со всеми ее предрассудками, без движения несознательных пролетарских и полупролетарских масс против помещичьего, церковного, монархического, национального и т. п. гнета, – думать так значит отрекаться от социальной революции. Должно быть, выстроится в одном месте одно войско и скажет: “мы за социализм”, а в другом другое и скажет: “мы за империализм” и это будет социальная революция!» Но сто лет спустя все вышло совсем по-другому, не как хотел Ленин – идеалом нынешней российской власти является то, о чем мечтал Патрик Пирс и его соратники. Что же, так устроена история Нового времени: сегодня памятью Шандора Петефи клянутся венгерские криптофашисты, а уж что еще недавно вытворяли поклонники Пирса из ИРА, даже и вспоминать не хочется. И никаких социальных революций, увы.

Бедный Ленин

У Ленина в этом году – последний относительно спокойный день рождения. В 2017-м уже начинают бушевать страсти по поводу векового юбилея Октябрьской революции, и вождю ее наверняка придется туго, а вот в 2016-м ничего особенного с ним не произошло – разве что при желании можно отметить сто лет со времени создания его знаменитой работы «Империализм как высшая стадия капитализма». Да и то она была только написана в 1916-м, а опубликована уже в Петрограде в 1917-м, когда Ленин вернулся из эмиграции и азартно включился в политическую борьбу. В 1916-м же Ленин мирно сидел в Цюрихе и рассказывал соратникам, что до следующей революции в России он не доживет, ибо ждать ее еще очень долго. В Цюрихе в то время нашли убежище от мировой войны самые разные люди. Здесь устроил свой модернистский двор Джеймс Джойс, сочинявший «Улисса», здесь на Шпигельгассе веселые молодые люди, прячущиеся от мобилизации в своих странах, открыли знаменитое «Кабаре Вольтер» и учредили самое интересное из авангардистских течений в искусстве – дада. Забавно представить себе, как сорокашестилетний Владимир Ленин прогуливается по Шпигельгассе мимо корчащих рожи Ганса Арпа и Тристана Тцары, после чего обменивается неторопливыми поклонами с остроносым ирландцем, который в компании прекрасной черноволосой жены Норы направляется в локаль выпить местного красного. Искушение увидеть главных политических, арт– и литературных революционеров XX века в одной компании, хлопающих друг друга по плечу, заказывающих пиво по кругу, было столь велико, что британский драматург Том Стоппард сочинил пьесу «Травести, или Комедия с переодеваниями в двух действиях», где собрал их всех на одной сцене. Впрочем, действие ее происходит в самом начале 1917 года, в России случилась революция, а русский эмигрант Ленин сидит в цюрихской библиотеке с ирландским эмигрантом Джойсом. Входит Крупская, которую в пьесе зовут просто Надя.

> Надя очень взволнована. Увидев, где сидит муж, она устремляется к нему. Они начинают беседовать: все первое действие Ленин и Надя говорят по-русски.
>
> **НАДЯ.** Володя!
>
> **ЛЕНИН.** Что такое?
>
> **НАДЯ.** Бронский пришел. Он сказал, что в Петербурге революция!

ЛЕНИН. Революция!

В этот момент Джойс встает и начинает шарить по карманам, разыскивая листки, на которых он записал что-то нужное ему для работы. Тем временем Ленин и Надя продолжают беседовать, Джойс выуживает из карманов листочки один за другим и читает вслух то, что на них написано.

ДЖОЙС (*зачитывает первый листок*). «Безотрадное наслаждение… пузатый Аквинат… Frate porcospino…» (*Решает, что этот листок ему не нужен, сминает его и выбрасывает. Находит следующий.*) «Und alle Schiffe brücken…» (*Решает, что это пригодится, и кладет листок обратно в карман.*) «Entweder иносущие oder единосущие, токмо, ни в коем случае, не ущербносущие…» (*Решает, что и это ему пригодится.*)

Между тем Ленин и Надя продолжают свою беседу.

ЛЕНИН. Откуда он знает?

НАДЯ. Написано в газетах. Он говорит, что царь собирается отречься от престола!

ЛЕНИН. Что ты!

НАДЯ. Да!

ЛЕНИН. Это в газетах?

НАДЯ. Да, да. Идем домой. Он ждет.

ЛЕНИН. Он там?

НАДЯ. Да.

ЛЕНИН. Газеты у него?

НАДЯ. Да!

ЛЕНИН. Ты сама видела?

НАДЯ. Да, да, да!

(Перевод Ильи Кормильцева)

Внимательный читатель, хорошо знакомый с романом, который Джойс сочинял в Цюрихе во время Первой мировой, узна́ет в реплике Нади пародию на последнее слово в «Улиссе», на знаменитое «да», сказанное Молли Блум нашему миру.

Не знаю, верна ли легенда о Ленине, играющем с Тцарой в шахматы в «Кабаре Вольтер», но можно быть совершенно уверенным в том, что русский революционер время не терял и много работал. «Империализм как высшая стадия капитализма» – труд довольно серьезный, несмотря на подзаголовок «Популярный очерк»; Ленину пришлось провести немало времени в цюрихской библиотеке, куда его поместил в «Травести» Том Стоппард.

Тот, чье детство, отрочество и юность пришлись на советское

время, наверняка вздрогнет, услышав название этой книги – ведь «Империализм» был инструментом особо жестокой идеологической пытки в школах и вузах СССР, его заставляли читать, изучать и даже учить наизусть. Однако если попытаться свежим глазом посмотреть на эту ленинскую работу сегодня, то она покажется довольно любопытной, хотя и сильно устаревшей. Но вот следующая его вещь, «Государство и революция», сочиненная уже в революционном 1917-м, – несомненная классика, причем актуальная. Делают ее таковой не только собственные достоинства – но и некоторые события последних месяцев и лет.

Нашумевшая весной 2016 года статья председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в «Коммерсанте» о том, как следует обустроить Россию[19], хоть и представляет собой осторожно высказанную версию столь популярного в стране полуфашистского бреда, тем не менее содержит в себе одну достойную внимания деталь. Речь не о каком-то отдельном высказывании, скорее о невысказанной идее, за которой полусознательно следует мысль бывшего главного комсомольца ЛГУ[20]. Крайние меры, на которые столь щедр язык Бастрыкина, вроде ограничения прав и свобод граждан, а также китайских экзекуций в отношении интернета и т. д. – все это оправдывается интересами «государства». Не отдельные люди и даже не общество, а государство – вот главная ценность русского мира, вокруг которой следует строить абсолютно все, включая и какуюто особенную идеологию. Любопытно, что здесь Бастрыкин явно переворачивает обычную марксистско-ленинскую логику; согласно Марксу (и не только ему) не идеология дополняет величественное здание государства, а наоборот, она представляет собой одновременно идеальный фундамент, идеальный материал и идеальную цель госстроительства. В бастрыкинских речах – которые в данном пункте почти не отличаются от выступлений прочих путинских чиновников, да и самого президента – идеология лишь одна из функций государства. Государство же не определяется ни классово, ни идеологически, ни каким иным образом. Примет у государства нет, кроме того, конечно, что оно должно быть безграничным и самодостаточным одновременно. Не государство для общества и даже не общество для государства – отнюдь, просто одно только государство, тело которого включает всю страну до последнего человека. «Русский мир» и есть государство, а государство и есть «русский мир».

Подобный вздор мог бы вызвать у Ленина даже не приступ его патентованного бешенства, нет, всего лишь ядовитую усмешку. Кто-кто, но он-то знал, зачем устроено государство,

чему оно служит и какова его природа! Это не значит, конечно, что взгляды Ленина были верными – наоборот, в построениях «Государства и революции» множество передержек, а то и просто логических ошибок и подтасовок. Но следует признать – по сравнению с замшелой бастрыкинской мистерией вечного государства ленинская концепция выглядит очень современно и остро.

Концепция эта проста, даже слишком проста. Государство представляет собой орудие и воплощение господства одного класса над другим. Цитируя Энгельса, Ленин утверждает, что государство вообще возникло как результат некоторого компромисса господствующих классов – с целью остановить войну всех против всех. С тех пор государство превратилось в институцию, обросло разными функциями, главная из которых – принуждение, насилие. Ленин не считает, что само по себе государство обладает собственными интересами, отличными от интересов тех классов, которые стоят за ним (хотя, заметим, конечно, это не совсем так). Если верить Ленину, «самого по себе» в чистом виде государства быть не может. Это иллюзия, причем иллюзия вредная, опасная, преступная. Природа государства, как инструмента организованного классового насилия, может быть радикально изменена только посредством пролетарской революции. Пролетариат – самый эксплуатируемый класс, оттого его интересы не являются эгоистическими, меркантильными; он, будучи наиболее обездоленным, как бы ратует за интересы всего общества, точнее той его части, которая достойна быть представленной на политической арене пролетариатом. Как только пролетарская революция покончит со старым режимом, основанным на эксплуатации, будет создано государство нового типа. Здесь Ленин расправляется с другим революционным крылом, с анархистами, утверждавшими, что в будущем справедливом обществе никакое государство не нужно. Кстати говоря, об отмирании государства в будущем говорил и Энгельс. Однако Ленин, этот мастер именно политической практики, а не теории, с помощью нехитрых построений доказывает, что победившему пролетариату без государства нельзя. Иначе новой жизни не построить – ведь в светлое будущее придется сгонять несознательные элементы, и делать это не иначе как железной рукой. Государство и есть эта железная рука. Как только необходимость в нем отпадет – отвалится и рука.

Я довольно примитивно пересказываю содержание хрестоматийной ленинской работы вовсе не потому, что хочу напомнить читателю постарше о тоскливых ужасах позднесоветских семинаров по научному коммунизму. Просто

важно указать на одну важнейшую черту состояния постсоветских умов. Общим местом стало утверждение, что путинская Россия реставрирует СССР с его идеологией. Это заблуждение получило столь широкое распространение, что главной жертвой в справедливой борьбе Украины с российской агрессией стали памятники Ленину. Мол, Ленин – это Путин вчера. Или, наоборот, Путин – это Ленин сегодня. На самом деле с исторической, идеологической точки зрения нет более далеких персонажей. Путин и все его Бастрыкины – это как раз тот тип политики и политиков, с которыми не покладая рук и языка сражался Ленин.

Концепция «пролетарской диктатуры», выдвинутая Лениным в «Государстве и революции», исходит из того, что новое устройство власти будет решительно отличаться от старого. Ленин отвергает систему разделения властей, считая ее уловкой, призванной замаскировать алчный, эксплуататорский характер буржуазного государства. В своей критике разделения властей и парламентаризма вообще Ленин убедителен – точно так же, как в той же критике убедительны Муссолини и Гитлер. Государство, основанное на разделении властей, вообще уязвимо, прежде всего с точки зрения эффективности, как ее понимают представители тоталитарных идеологий. Для них вся эта возня с парламентами, утверждением состава правительства, независимым судом – лишняя маета при достижении очевидной и простой цели. И цель эта носит чисто идеологический характер – либо расовый, либо классовый. Оттого и государство должно быть либо первым, либо вторым. В случае Ленина речь идет о замене классового буржуазного государства, основанного на разделении властей, на классовое пролетарское государство, основанное на отсутствии разделения властей. То есть речь идет о диктатуре пролетариата и ее оформлении как института власти.

Путинско-бастрыкинская модель государства как высшей ценности – совсем о другом. Если у Ленина (Гитлера, Муссолини) государство – всего лишь инструмент, то у выпускников юридического факультета ЛГУ второй половины 1970-х годов оно заменяет все – классовые интересы, идеологию, что угодно. На самом деле эти люди исповедуют интерес не государственный, а корпоративный, связанный с банальной неспособностью действовать в любом ином социально-экономическом и политическом окружении. Вне государства бастрыкины ничто – в отличие от буржуев из марксистских книг. Всей своей деятельностью они опровергают слова Ленина о государстве как выразителе воли уже существующих классов общества, обычно эксплуататорских. Государство Путина – Бастрыкина ничьих

интересов не представляет, кроме собственных, которые, в свою очередь, являются мелкогрупповыми и в классических политических понятиях не формулируются. Иными словами, государство под названием США можно обвинить в том, что оно выражает интересы крупных корпораций – и иногда справедливо обвинить. Но государство под названием Российская Федерация невозможно упрекнуть в том, что оно выражает интересы, скажем, Газпрома или Роснефти, ибо государство, Газпром и Роснефть в данном случае есть одно и то же. Правая рука не может выражать интересы левой руки, и наоборот.

Из этого следуют два печальных для Владимира Ильича Ленина вывода. Первый заключается в том, что его попытки построить в России некое небывалое государство, которое потом приведет трудящихся в мир универсальной справедливости и счастья, – все это кончилось полным крахом. Причем кончилось дважды. Первый раз, когда Сталин под прикрытием ленинских идеологических конструкций создал совершенно иное государство, базирующееся на тотальном насилии и чудовищной социальной несправедливости. Второй крах наступил, когда к власти в России пришли люди с политическим мышлением захолустной латиноамериканской хунты и принялись воспроизводить риторику, которая уже в 1917 году выглядела архаичной. Стоило ли убивать десятки миллионов людей, чтобы прийти к столь жалкому итогу?

Второй печальный для Ленина вывод – то, что его идеи, страшные, параноидальные, но очень сильные и обладающие невероятной привлекательностью, – никому на его собственной родине не нужны. Набальзамированное тело вождя лежит в центре столицы – и мертвому Ленину ходят поклоняться в столь ненавидимом им религиозном духе. Партия, которая сегодня носит имя, некогда данное Лениным его собственной партии, будто нарочно делает все именно то, с чем он боролся. Разве не о богомольных националистах из КПРФ это написано: «Накопленные десятилетиями сравнительно мирного развития элементы оппортунизма создали господствующее в официальных социалистических партиях всего мира течение социал-шовинизма. Это течение <…>, социализм на словах, шовинизм на деле, отличается подлым лакейским приспособлением “вождей социализма” к интересам не только “своей” национальной буржуазии, но именно “своего” государства, ибо большинство так называемых великих держав давно эксплуатирует и порабощает целый ряд мелких и слабых народностей»? Одни националисты (русские) превозносят интернационалиста Ленина как национальную икону – а некоторые даже призывают «похоронить

его по-божески» (очень комично это «по-божески»). Другие националисты (украинские) сбрасывают его с пьедесталов как русского оккупанта – Ленина, автора работы о праве наций на самоопределение. Можно сколько угодно (и отчасти справедливо) считать Ленина маньяком и кровопийцей, но не стоит приписывать ему того, чем он никогда не был. Это примерно как упрекнуть Гитлера в том, что в Третьем рейхе мясоеды не давали прохода вегетарианцам.

Печальные вещи происходят с тем, что сделали люди, в 1916 году прятавшиеся от войны в нейтральном Цюрихе. Джойс написал великий модернистский роман, открыв новую эпоху в литературе – а дело сегодня кончилось постыдным скопидомством держателей прав на его сочинения. Дадаисты, повеселившись, исчезли со сцены, уступив место сюрреалистам, которые превратили антибуржуазный бунт в объект респектабельного хобби миллионеров. Наконец, рядовой русский политэмигрант за один год стал самым знаменитым революционером своего века, чтобы потом возлечь фараоновой мумией посреди города, где слово «революция» можно обнаружить разве что на рекламе бутика женского белья. Какой горькой насмешкой звучит сегодня постскриптум, дописанный Лениным после основного текста «Государства и революции»: «Настоящая брошюра написана в августе и сентябре 1917 года. Мною был уже составлен план следующей, седьмой, главы: “Опыт русских революций 1905 и 1917 годов”. Но, кроме заглавия, я не успел написать из этой главы ни строчки: “помешал” политический кризис, канун октябрьской революции 1917 года. Такой “помехе” можно только радоваться. Но второй выпуск брошюры (посвященный “Опыту русских революций 1905 и 1917 годов”), пожалуй, придется отложить надолго; приятнее и полезнее “опыт революции” проделывать, чем о нем писать.

Автор

Петроград. 30 ноября 1917 года».

Ленин с приятностью «проделал» этот опыт, жертвами которого стали миллионы людей. Как мы видим, в конце концов он проиграл. Но проиграли и те, против кого он сражался. Проиграли все, кроме обладающих невероятной живучестью второразрядных циников, которые, привыкнув паразитировать на больших идеях и большой истории, теперь оказались у власти. Собственно, выиграл тот тип людей, который ни Ленин, ни Столыпин, ни Горький с Блоком не замечали в силу ничтожности его. Эти люди в конце концов и стали государством, ради которого Бастрыкин предлагает запретить все.

Код: 1 9 1 6

В советском фильме про «неуловимых мстителей» актер Джигарханян, изображающий штабс-капитана белой контрразведки Овечкина, хранит секретные военные планы в сейфе с кодом из четырех цифр. Эти цифры: 1 9 1 4. «Девятьсот четырнадцатый. Начало войны. Война началась» – юный окровавленный мститель вспоминает слова Овечкина и открывает заветный ларец. Белый план теперь у красных. Любопытно, что красный диверсант с внешностью гимназиста из интеллигентов и элегантный белый садист происходят из одной социальной среды. В 1914-м они были по одну сторону баррикады – по другую оказались немцы с австрийцами и турками. А вот теперь, всего шесть лет спустя, социально близкие люди энергично друг друга убивают. Гражданская война.

Вопрос в том, когда началась катастрофа. В 1917-м? Если да, то почему она так стремительно совершилась? Тот год Россия начала империей, а закончила советской республикой, от которой одна за другой отваливались территории. «Русь слиняла за три дня», – писал Розанов. С такой же скоростью развивались судьбы тех, кто в этой катастрофе участвовал – сознательно и бессознательно. Владимир Ленин в январе 1917 года еще тихо сидел в Цюрихе и рассказывал товарищам по социал-демократии, что он уж точно не доживет до новой русской революции. В декабре того же года он был вождем победившей революции и главой нового, невиданного доселе государства. Генерал Алексей Каледин начал 1917-й в должности командующего 8-й армией, а закончил участником так называемого «триумвирата», куда кроме него входили генералы Алексеев и Корнилов. Каледину, который провозгласил Дон отколовшимся от Советов, оставалось жить месяц. Считается, что именно здесь, на Дону, началась Гражданская война. Впрочем, могут быть и иные мнения.

Бывший командир Каледина по Юго-Западному фронту, знаменитый генерал Брусилов всю вторую половину 1917-го прожил мирным московским обывателем. Летом 1917 года он успел побывать Верховным главнокомандующим, но затем Керенский заменил его на генерала Корнилова; тот, выждав пару-тройку недель, поднял мятеж против Временного правительства, а в конце 1917-го уже был членом Донского триумвирата. Брусилов же, выйдя в отставку, поселился в Москве, а во время ноябрьских боев в городе его ранило шальным осколком. Судя по всему, этот профессиональный военный физически пострадал от оружия только один раз в жизни – и не на поле боя, а просто сидя

в собственном доме в глубоком тылу. Вот это и называется «гражданской войной», не так ли? Впрочем, три года спустя мы уже видим Брусилова главой Особого совещания при главнокомандующем всеми вооруженными силами Советской республики, а его подпись стоит под воззванием к офицерам врангелевской армии – рядом с подписями Ленина, Троцкого, Калинина и других. Так что кинематографический Овечкин вполне мог изучить этот документ – еще в Крыму или чуть позже, после эвакуации, в Стамбуле, если, конечно, штабс-капитану удалось ускользнуть от красных.

Любопытно, что годом, где сходятся биографии всех вышеперечисленных реальных, а не вымышленных участников русской катастрофы, был не роковой 1914-й, а 1916-й. В том году Юго-Западный фронт под командованием генерала Брусилова одержал, кажется, единственную настоящую в Первой мировой – решительную русскую победу. В знаменитом Брусиловском прорыве участвовал и генерал Каледин, командующий 8-й армией. Что касается Лавра Георгиевича Корнилова, то он начал 1916-й в австрийском плену, в лагере для высших чинов под Веной, потом бежал, в Петрограде был торжественно принят Николаем II, награжден, после чего вернулся в строй и возглавил 25-й армейский корпус все того же Юго-Западного фронта. Любопытно, что в апреле 1917-го Корнилов, побывав в последние недели империи командующим Петроградским военным округом, сменил Каледина во главе 8-й армии Юго-Западного фронта. Что же до Ленина, то он в то самое время вернулся в Россию – а в 1916-м, напомню, без суеты сочинял в Цюрихе книгу «Империализм как высшая стадия капитализма».

Я пересказываю все эти и без того знакомые многим факты, сгруппировав их в сюжетный пучок, характерный скорее для исторической беллетристики или авантюрной поп-истории, вовсе не для достижения дешевого эффекта. При желании, конечно, любые жизни, даже самых обычных непримечательных людей, можно изложить вот таким образом, в духе триллера или сенсации из прошлого. Дело в другом. Все эти генералы служили в одной армии, под властью одного монарха, хорошие и честные вояки, дисциплинированные солдаты, не помышлявшие о том, что в конце концов им придется стать сепаратистами, вождями отколовшихся провинций, заговорщиками, интриганами, а кое-кому даже выпадет вместе со смертельными врагами Империи, Церкви, Вековечного Порядка подписывать воззвания к бывшим сослуживцам. Как такое могло произойти? И – еще раз – когда наступил перелом?

Последний вопрос несколько мистический, в духе водянистой

историософии русского Серебряного века. Однако на него стоит попытаться ответить. Хотя бы потому, что сегодня в России этот ответ практически никому не нужен – да и подобные вопросы не задаются. Два года назад почти незамеченным прошло столетие рокового 1914 года штабс-капитана Овечкина, в 2017-м – столетие рокового 1917-го публициста Ленина. Причины неудобства как в случае первого, так и второго юбилея просты. И 1914-й, и 1917-й выпадают из магистральной исторической концепции путинского режима – непротиворечивого повествования о Вечной Великой России, Победительнице Врагов и Завистников, страны Духовности и Веры. С 1917-м и последующим десятилетием – до Сталина – все понятно, сплошной хаос и никакого патриотизма. А вот Первую мировую Российская империя проиграла с треском: дезертировала с поля битвы почти за год до финала, рухнула и погребла под собой все свои знаменитые вековечные устои. Военные действия, за несколькими серьезными исключениями, вроде того же Брусиловского прорыва, были неудачными – если не брать в расчет турецкий фронт, но тут дела и традиции особые. Иными словами, первое после Крымской войны столкновение с регулярными европейскими армиями Россия провалила – так же как за 10 лет до того провалила первое столкновение с модернизированной регулярной азиатской армией.

Начало войны вызвало такой взрыв шовинизма, что свидетелям (и участникам) народного подъема, которое смело коней с германского посольства в Петербурге, должно было быть неудобно за все это уже в 1917-м. А то и в 1916-м. Погромы немецких лавок и заведений, шпиономания, поток доносов вполне приличных некогда людей на вполне благонамеренных подданных, имевших несчастье носить немецкие фамилии, пропагандистские стишки самого дурного пошиба, сочиненные великими русскими поэтами, патриотические лубки Маяковского, который уже через год повернет на 180 градусов и будет воспевать большевиков, – все это выглядело бы невыносимо, не происходи примерно то же самое в других воюющих странах. Яд шовинизма отравил десятки миллионов; он унес разум и жизни очень многих. Увы, среди погибших было немало и тех, кто этого яда даже не собирался пробовать.

Так вот, ничего хорошего для России из 1914-го не вышло. Собственно, она, Россия, после него и кончилась, как справедливо заметил штабс-капитан Овечкин. Только вот после 1914-го – или годом или двумя позже? Если отвратительный припадок массового безумия произошел в том году у всех, то почему из «стран Антанты» рухнула только Российская империя? Когда

именно общее европейское безумие и общая катастрофа стали приобретать российские черты? Когда русское общество переступило черту, у которой остановилось британское или французское? Наконец, когда на самом деле стало ясно, что войну уже не выиграть – не из-за плохого положения на фронте (а оно в 1916-м, как мы видим, улучшилось), а потому, что дальнейшего усилия страна уже не выдержит? Крах произошел в 1917-м, когда события развивались уже со скоростью погони Волка за Зайцем в «Ну, погоди!». Значит, что-то произошло, что-то надломилось между четырнадцатым и семнадцатым. Когда же?

В мае 1917-го Александр Блок делает важную запись в дневнике. За время войны он успел побывать в армии (табельщиком 13-й военно-инженерной дружины), вернуться в Петроград и даже устроиться редактором протоколов созданной Временным правительством Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию деятельности бывших царских министров и сановников. (Отметим в скобках, что зловещая большевистская ЧК позаимствовала свое имя именно здесь.) Уезжал Блок из одной столицы, а приехал в другую. Отличный повод попытаться подумать о том, что же здесь произошло. Итак, 25 мая он записывает:

> Старая русская власть делилась на безответственную и ответственную.
>
> Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом.
>
> Такой порядок требовал людей верующих (вера в помазание), мужественных (нераздвоенных) и честных (аксиомы нравственности). С непомерным же развитием России вглубь и вширь он требовал еще все повелительнее гениальности.
>
> Всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы.
>
> Все это продолжалось много лет. Последние годы, по признанию самих носителей власти, они были уже совершенно растеряны. Однако равновесие не нарушалось. Безвластие сверху уравновешивалось равнодушием снизу. Русская власть находила опору в исконных чертах народа. Отрицанию отвечало отрицание. Так как опора была только отрицательною, то, для того чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка. Толчок этот, по громадности России, должен был быть очень силен. Таковым оказалась война 1914–1917 года. <…> Все это в

миноре.

Я привожу это длинное рассуждение (да и то не целиком) вовсе не для того, чтобы намекнуть, мол, все очень похоже на нынешнюю Россию. Внешне да: «безответственный» президент и его окружение, «ответственные» технократы и советники, которые отвечают только перед «безответственными», упадок правящей элиты и развращение «низов» и т. д. Остается ждать, когда грянет буря, которую мы сочтем за новую Первую мировую. На самом деле это точно так же касается нынешней России, как и Германии кануна Первой мировой – или даже Португалии времен Салазара, или какой-нибудь латиноамериканской диктатуры 1970 – 1980-х. Несмотря на общий профетический тон, Блок дает четкое социально-политическое описание подобных режимов в предкатастрофической стадии вообще, того, как эти режимы функционируют и каков механизм их краха. Именно поэтому блоковское рассуждение очень важно для понимания истории XX века; однако его недостаточно, чтобы понять, как именно эта ситуация разыгралась в России, что было ее спусковым крючком и почему события мгновенно приобрели столь стремительный, катастрофический, необратимый характер.

Мне кажется, что 1916 год здесь сыграл ключевую роль. В нем проявились уже чисто российские обстоятельства, которые и придали грядущему политическому кризису характер тотального коллапса. Прежде всего, да, тот самый Брусиловский прорыв. Действительно выдающаяся победа, которая могла переломить крайне неприятный для Российской империи ход военных действий на западных фронтах. Увы, она оказалась совершенно ни к чему. Никаких стратегических выводов русское командование не сделало, упустив возможность перехватить инициативу. То есть стратегическая инициатива на самом деле была перехвачена у немцев, но только Британией и Францией. А России осталась ее обычная роль суицидальной «скорой помощи» союзникам – каждый раз, когда им нужно было отвлечь от себя немцев, они убеждали русское командование начать очередное неподготовленное, ненужное наступление, почти неизменно заканчивающееся поражением. Сам Брусилов писал потом в мемуарах: «Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный фронт главного удара так и не нанес, а Северный фронт имел своим девизом знакомое нам с японской войны “терпение, терпение и терпение”. Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила своего назначения управлять всей русской вооруженной силой.

Грандиозная победоносная операция, которая могла осуществиться при надлежащем образе действий нашего верховного главнокомандования в 1916 году, была непростительно упущена». И виноват был в этом не только Николай II лично; сама военная машина Российской империи оказалась не в состоянии вести последовательную, продуманную войну с первоклассным противником, имея собственную военно-политическую повестку дня, не совпадающую на все сто процентов с союзнической. И дело тут не в «русской доброте» в отношении Франции и Британии, нет, дело именно в неспособности мыслить стратегически. Эта неспособность касалась не только генералов и главнокомандующих, она имела отношение ко всему правящему в империи классу – и она зашла настолько далеко, что, делая все для «сохранения спокойствия в империи», этот класс империю уничтожил. А уничтожил он ее отчасти потому, что совершенно не имел представления о том, кем управляет.

В записи от 25 мая Блок справедливо отмечает удивительное противоречие. С одной стороны, «русская власть находила опору в исконных чертах народа» (добавим от себя, в тех чертах, которая эта власть себе же придумала в качестве «исконных»), с другой – «безвластие сверху уравновешивалось равнодушием снизу. <…> Так как опора была только отрицательною, то, для того чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка». Безвластие сверху, равнодушие снизу – отличная формула для поддержания порядка и спокойствия сегодня. Или завтра, но не послезавтра. Отказавшись от любых изменений, став «вещью в себе», правящий класс Российской империи выиграл тактически (в период примерно с 1913-го по 1916-й), но все начисто проиграл стратегически. Это отсутствие элементарного политического воображения, не говоря уже о других качествах, проявилось и в военно-политической сфере. Брусилов выиграл, а Николай II, империя как таковая проиграла. Любопытно, что царь остался недоволен успехами Юго-Западного фронта (Брусилов спланировал операцию по-своему, не как хотел император), закапризничал и даже не наградил генерала орденом Св. Георгия 2-й степени, как предлагали его советники. С этой точки начинается стремительный спуск одного в подвал Ипатьевского дома, а второго – в военные советники Троцкого.

Внимательный читатель укажет мне на полнейшее логическое несоответствие. С одной стороны, автор пеняет императору и его безответственному окружению, что они не хотели делиться властью с «ответственными» и с представителями того «народа», который они не знали. С другой

стороны, автор согласен с блоковской характеристикой – «безвластие». Как эти две вещи могут уживаться рядом? Элементарно. Власть может быть сосредоточена в руках группки людей или даже одного человека. Но если к этой власти не прилагается соответствующий исправный механизм, ее нормально функционирующие институты и т. д., то сколько бы ни было в руках власти, все равно она не работает. Спорадические всплески бурной активности такой власти не замещают ее ежедневной налаженной деятельности. В результате для решения каких-то своих сиюминутных целей – а у подобной власти все цели сиюминутные – власть избегает использования законных государственных институтов, в частности тех, кто законно имеет монополию на насилие (армия, полиция и проч.). И тогда она как бы временно добровольно отчуждает собственную монополию на насилие в пользу кого-то другого, чаще всего неформального и внезаконного. Подобная практика известна – вспомним хотя бы военизированные группировки и проправительственные милиции в разных африканских и латиноамериканских странах, да и деятельность чернорубашечников в ранний период становления фашистского режима в Италии (и СА в начале 1930-х в Германии). При всех приятностях использования негосударственного неофициального насилия для достижения некоторых целей власти тут неизбежны и неприятности. Например, отчужденную монополию на насилие сложно вернуть себе в целости и сохранности. Это первое. Второе: даже самые верные служаки, наблюдая, как на их глазах ради некоего очевидного вроде бы государственного интереса попираются формальные принципы государства, мотают себе на ус и при случае используют те же методы. То есть каждый начинает действовать как ему заблагорассудится, исходя из собственных представлений о должном. Ну примерно как вели себя гг. Корнилов, Каледин, Брусилов и многие другие. И вот тогда здание государства рушится в считанные дни – ведь снизу его никто не подпирает, как мы прочли у Блока.

Все вышесказанное относится еще к одному роковому событию 1916 года, только уже в самом конце его – к убийству Распутина. Вроде бы благое дело – избавление царствующей семьи от сомнительного авантюриста, улучшение образа монархии, пресечение возможных сепаратных переговоров с врагом – было сделано с помощью водевильной уголовщины, которая не перестала быть таковой даже из-за того, что в нее впутались самые что ни на есть патриотически настроенные аристократы и депутаты Государственной думы. Ну а уже когда подданные увидели, что можно запросто убить самого близкого

царской семье человека и не быть наказанным согласно закону, – именно тут был нанесен второй смертельный удар по императорской России, по самой ее идее.

Что же до «народа», то его никогда не было. Был конгломерат самых разных социальных, этнических, религиозных групп, которые как-то (чаще всего не совсем скверно) существовали в рамках одного государства. Задача империи всегда была поддерживать определенный баланс этих групп и демонстрировать собственную формальную возвышенность, свою народность и наднародность разом. При всей чудовищной несправедливости, коррупции и неловкости русской власти она все-таки баланс соблюдала. Соблюдала потому, что в каждом своем поступке имела в виду сам этот баланс как горизонт и конечную цель. Как только интерес власти стал исключительно сиюминутным (а процесс этой деградации политического мышления растянулся на тридцать с лишним лет), нужен был толчок, чтобы конструкция развалилась. Вот она и развалилась.

Настоящие поэты – люди с невероятной интуицией, этической и исторической, даже те, кто ведет не очень моральный образ жизни и историей с политикой не интересуется. В 1916 году Осип Мандельштам и Михаил Кузмин пишут стихотворения, в которых так или иначе мелькают события русской Смуты начала XVII века. Неважно, что биографический повод и художественная интенция этих стихов были вроде бы совершенно разные. Мандельштам увлекся тогда Мариной Цветаевой – и Москвой Марины Цветаевой. Кузмин приносил обычный для него тогда оммаж волжским городам, Ярославлю, Угличу, размеренной тихой, скучноватой, довоенной провинциальной жизни, в которой так хорошо провести некоторое время, скрываясь от петербургских сердечных и финансовых бурь. У Кузмина в 1916-м возникает несчастный царевич Дмитрий, а у Мандельштама – столь же несчастный Лжедмитрий.

Михаил Кузмин:

А на траве – в кровавой багрянице
Царя Феодора убитый брат.
В заре горит грядущих гроз багрянец,
Мятеж и мрак, невнятные слова,
И чудится далекий самозванец
И пленная, растленная Москва!

Осип Мандельштам:

А в Угличе играют дети в бабки

И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.
Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.
Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.

Через год худые мандельштамовские мужики принялись резать господ и друг друга, а злые бабы, если, конечно, оставались в живых, долго молчали о своем горе и упрямо пытались поставить на ноги детей, которых убьют уже позже. В этой новой кровавой каше перемешались все, дворяне, крестьяне, генералы, каторжники и интеллигенты. То, что произошло потом, началось именно в 1916-м, но жизнь, происходившая в том году, своим содержанием решительно отличалась от жизни, скажем, 1936 года. Так химический элемент, который капнули в пробирку, чтобы вызвать реакцию, имеет совсем иные свойства, нежели то, что в конце концов получилось.

Глава IV
Пробы цайтгайста, весна – лето 2016-го

Ушастые яйца

Весна 2016 года в Москве оказалась веселой: мэр Сергей Собянин постарался и тем для искрометных шуток стало еще больше. В конце зимы в центре города принялись истреблять мелкую и среднюю торговлю и всевозможный уличный сервис, а затем – в качестве компенсации – власти выставили наглядную агитацию состояния собственных умов. Казалось бы, властям надо скрывать свою комическую, какую-то детскую беспомощность в отношении всего на свете, кроме угрюмого освоения денег, – все-таки негоже тем, кто правит, выглядеть глупее тех, кем правят. Но это было в старые годы и при старых режимах. Раньше власть в России – неважно, монархическая или диктаторская – пыталась выглядеть не только мудрой, но иногда даже и умной. Порой это у нее получалось. После 1917-го на службу столь разным режимам, как ленинский, сталинский, брежневский, были поставлены десятки тысяч умов, неустанно сочинявших тексты, проектировавших памятники и строения, снимавших кино. Более того, многое из созданного тогда по заказу прогремело, осталось в памяти и даже получило свои несколько десятков лет славы за пределами России. За качеством наглядной агитации внимательно следили – ибо агитировали не лично за товарища Ленин или даже Сталина, а за стоявшую за ними «великую идею», точнее за набор этих идей, за идеологию. Неважно, что в случае основателя пролетарского государства это было полной правдой – Ленин выступал как бы практической функцией от этой идеологии, – а во втором совсем не правдой. Режим Сталина был именно «режимом Сталина», со смысловым ударением на втором слове, а не на первом. В любом случае предполагалось, что здание государства построено для общественного блага, а некоторые издержки по умолчанию списывались на особенности неслыханного по размаху строительства в столь сложных климатических и исторических условиях. Соответственно, архитектура и украшение этого здания считались делом первостепенным, а внутри него были предусмотрены огромные пространства для развлечения и поучения граждан. Все это происходило на самом высоком эстетическом уровне, чему способствовал в том числе банальный страх призванных к этому делу умов. Неправильный рисунок, неверный проект, слабый фильм могли привести к прискорбным персональным последствиям – материальным и даже физическим. Те, кто в 2016-м поставил на московских площадях и улицах трех богатырей, зеленую голову, странные жестяные фитюльки с

ошметками живой и мертвой растительности, – все эти люди, отмеченные художественным талантом Остапа Бендера, создателя непревзойденного «Сеятеля», все они, сооруди нечто подобное году в 1938-м или 1949-м, на следующий же день вели бы дружеские беседы с сотрудниками столь любимого ими НКВД. Сломанные ребра, выбитые зубы, раздавленные дверями пальцы, расстрел или ледяное гниение в Заполярье – таков был бы гонорар за подобное веселое украшение Москвы.

Слава богу, времена сейчас другие и на авторов беззаботных пасхальных яиц с ушами никто не покушается. Более того, кроме кучки «недовольных» в Фейсбуке, никто особенно не обращает внимания на то, что происходит в городе, совсем недалеко от Кремля. И здесь не только эстетическая слепота. Наоборот, жалкая пестрая чушь, расставленная тут и там в Москве, ровным счетом ничем не отличается от остального – от рекламы, от оформления книжных обложек, от того, что показывают в телевизоре, от всего прочего. Эти штуки – материализация нынешнего московского, российского цайтгайста, точнее одна из материализаций, которых столь много, что в глаза бросаются зияния на тех местах, где оный цайтгайст не проявлен. Ну это как в каком-нибудь «Библио-Глобусе» скользить взглядом по цветастым обложкам сочинений Старикова, Прилепина, Донцовой, Лукьяненко и вдруг упереться в строго оформленную книгу без признаков золотого и красного. А на корешке еще и имя какое-то другое, не из обычного перечня. Странно. Непорядок. Откуда? Кто разрешил? Ведь даже Пушкина с Толстым поспешили снабдить полуголыми тетками и квадратнолицыми мужичками в мундирах. Кстати, нынешний цайтгайст во многом об этом – о том, как хорошо, когда мужики в мундирах, а при них полураздетые женщины, всё сентиментально, сурово и судьбоносно, чуть даже с надрывом, зато мы умеем веселиться и смеяться, как никто другой. См. пасхальные яйца с ушами.

В этом главная особенность нынешнего российского режима. Предыдущие создавали мощное эстетическое поле, с которым имело смысл не соглашаться, бороться с ним (вспомним знаменитую фразу о стилистических разногласиях с советской властью). С нынешним бороться глупо, а не соглашаться – комично, ибо яйца с ушами не предполагают того, чтобы с ними кто-то соглашался. Ну действительно, как можно реагировать на трех богатырей, прискакавших в Москву из рекламы сызранского майонеза, снятой в 1998 году ловкими парнями, которым поручили по-быстрому отмыть уворованные из дефолтного банка деньги? Никак, конечно. Кстати говоря, в этом смысле собянинский *public art* неожиданно сошелся с *contemporary art*. И то

и другое искусство стоит немалых денег, и то и другое не требует эстетической оценки – и, наконец, и то и другое абсолютно безразлично окружающим. Его просто не замечают. В каком-то смысле Собянин сделал то, что Марат Гельман пытался сделать в Перми, – заселить город бессмысленной разухабистой ерундой, чтобы заказчики были довольны, а местные не особенно обращали внимание. Но у одного вышло, у другого нет.

Но вернемся к нынешнему режиму. Его эстетическая безответственность не слабое место, а, наоборот, одна из скреп. Ведь советский «большой стиль» (как и нацистский, как и некоторые фашистские, но не все) мог существовать лишь при подпитке из большого внеэстетического источника, то есть из все той же всеобъемлющей, универсалистской идеологии. Такая идеология монолитна, оттого монолитен и ее декор. Сталинская архитектура или лирический мещанский брежневский соцреализм – все это не виньетки, дарящие мимолетный отдых глазам, уставшим от работы по строительству нового мира, это инструменты такого строительства, быть может даже самые важные. Вспомним, что «культурная революция» была одной из ипостасей Святой Троицы Ленинского Плана Построения Социализма, столь же важная, как другие – индустриализация и коллективизация. Не забудем и Мао, который пустил в дело «культурную революцию», как Наполеон «старую гвардию», – в самый решительный момент, когда провалился «большой скачок». Область «культуры» для подобных режимов была важнейшей – именно в ней оттачивались образы прошлого, настоящего и будущего, без которых повседневная жизнь в СССР 1951-го или Китае 1970-го выглядела бы тем, чем она была на самом деле, – жалким существованием, насквозь пропитанным лишениями и страхом.

Так что сталинские высотки и мухинские скульптуры сделаны из серьезного социокультурного материала, который позволяет им – учитывая, конечно, неизбежные упадок и разрушение – стоять до сего дня и производить сильное впечатление, схожее с древнеегипетскими пирамидами или камнями Стоунхенджа. Собянинские фитюльки, богатыри и ушастые яйца сделаны из материала, который прекрасно знаком нынешнему населению Москвы и всей России. Они сделаны из распиленных денег. Из них же сделано почти все в стране. Так что на это уже давно никто не обращает внимания – как крестьянин не обращает внимания на красоты сельского пейзажа. Возмущаются лишь те, кто действительно хочет возмущаться – и делает это по двум причинам. Иногда совпадающим, иногда нет.

Первые автоматически возмущаются всем, что делает

нынешняя власть. При этом неважно, что именно она делает; раздражение вызывает любое ее движение – как и отсутствие движения тоже. Первая разновидность «недовольных» относится к власти примерно так же, как герой набоковского рассказа «Истребление тиранов» относится к тирану. Он думает только о нем, мысленно следует за любым поворотом его судьбы, проникает воображением в его жилище – и даже в его тело. Набоковскому герою во сне являются люди, которые «работают» с телом тирана, – массажист, булочник, портной. В другом сне он видит биологического отца тирана, достраивая семейный сюжет своего знания о нем. Паранойя столь сильна, что внимательный читатель ближе к концу рассказа начинает сомневаться в том, что повествователь на самом деле был в молодости знаком с будущим диктатором, что он действительно разговаривал с ним, а один раз даже подержал его за руку. Эстетическая брезгливость «истребителя тирана» тоже небезупречна – да, он порой находит точные слова для описания тоскливой пошлости массовых госпраздников, но во вкус героя верится с трудом, так как он слишком поглощен ненавистью. Настолько поглощен, что в какой-то момент даже превращается в тирана, в конце концов с огромным трудом восстанавливая дистанцию между собой и предметом своей ненависти. Но эстетическое чувство немыслимо без дистанции; «антисоветское», как мы помним, эстетически выглядело не лучше «советского». Впрочем, это общее место.

Вторая разновидность «недовольных» собянинским паблик-трэшем исходит из более продуктивного сентимента. Это чувство горожанина, члена городской общины, которому небезразлично то, что делают с местом его обитания. Здесь и только здесь возмущение по поводу навострившихся яиц может обрести политическое значение. Политики в нынешней России нет, она тщательно вытоптана, а ее институты либо безнадежно и намеренно скомпрометированы, либо попросту демонтированы. Политическое может вырасти вновь, но именно «вырасти», как *grassroots politics*. Надежд на это явно больше, чем на «социальное возмущения», на «протесты трудящихся из-за ухудшения их экономического положения». Это отдельная тема – то, как «экономическое» стало столь же безразличным значительной части населения, как и «эстетическое». Но вот «локальное», чувство принадлежности к местному сообществу – дело другое. Солидарность и взаимный интерес людей, которые живут рядом в одном районе, – чуть ли не последняя оставшаяся в России возможность построения горизонтальных социальных связей, а значит, складывания общества с его мнением, конфликтом интересов, жизнью. В этом смысле жалкие собянинские

декораторы работают на будущее.

Но есть ли возможность хоть как-то эстетически относиться ко всему этому – к металлическим заусеницам на Пушкинской, к статьям в газете, чья редакция находится ровно над этими заусеницами (и я со злорадством представляю себе, как эти бедолаги выглядывают из окна, некоторые даже кривятся, но что тут поделать? Ничего не попишешь, ты этого хотел, Жорж Данден! И они возвращаются на свои рабочие места восхищаться тем, как все прекрасно), к суровым песням про Родину в исполнении спившихся лабухов, наконец, к убранству кремлевских кабинетов, которое предвосхитил Набоков («Ее долго вели мраморными коридорами, без конца перед ней отпирая и за ней запирая опять очередь дверей, пока она не очутилась в белой, беспощадно-освещенной зале, вся обстановка которой состояла из двух золоченых стульев»)? Думаю, да. Эстетика требует историзма, так называемое «чувство прекрасного» ограничено временными и культурными рамками. Именно в такие рамки и следует поместить вышеназванное – как и почти все остальные российские эстетические феномены последних 16 лет. А внизу рамочки, согласно музейным правилам, повесить табличку «История времен Путина. Эстетические объекты».

Веселая рабочая Пасха

Трамвай. Разговор о духовном:

– Славяне крестились двумя перстами, а христиане тремя. Тремя перстами, потому что каждый перстень что-то значит: душа там, сердце… Или нет: земля, вода. Потому что некоторые крестятся четырьмя. А в какую сторону, этого я вообще не помню…

(Из Фейсбука)

На праздники приятно поговорить о праздниках, особенно если они перестали быть рутинным событием. История может сыграть здесь роль – если пользоваться терминологией русских формалистов – «литературного приема», который позволит увидеть некоторые вещи как бы заново, с дистанции, то есть совершить то, что Виктор Шкловский называл «остранением». Выведенный из рутины, лишенный автоматизма праздник позволяет кое-что понять об обществе, которое его отмечает, – и о том, как это общество думает.

«Православный Первомай» – так печальные шутники назвали нынешний праздник в России, в котором сошлись сразу два праздника – Труда и Христа. Напоминать, что такое Пасха, не нужно, а вот о содержании Первомая стоит сказать несколько слов – как и о том, что стои́т за ним. Как известно, Международный день солидарности трудящихся (как только его не называли и называют – День труда, Праздник весны и труда и т. д.) появился сначала в Соединенных Штатах среди местных анархистов. Затем, в 1889 году уже II Интернационал объявил его международным, добавив к идее «солидарности» экономические и социальные требования, вроде восьмичасового рабочего дня. В царской России это начинание получило довольно широкое распространение – думаю, почти все те, кто прожил в СССР хотя бы 10–15 лет, помнят веселое слово «маевка». Советская литература и кино посвятили маевкам немало страниц и кадров – зеленый луг, окруженный деревьями или кустарником, полсотни человек в кепках и платочках, красный флаг, на стреме мальчишка – какой-нибудь будущий герой Гражданской войны, поблизости шныряет шпик в мещанском котелке и с тросточкой, из кустов выбегают пузатые полицейские, но маевщики счастливо

растворяются в дружественной пролетариату природе русской средней полосы. Любопытную версию маевки предложил Валентин Катаев в романе «Белеет парус одинокий». Он перенес праздник классовой борьбы в иную стихию – с суши на воду. Одесская маевка происходит на море, в ней участвуют рыбаки, а с берега за сошедшимися вместе шаландами в злобном бессилии наблюдают городовые – и свистят, конечно, ведь не бывает соцреалистических романов про историю без свистков городовых. Катаев – кажется, первым в большой советской литературе – рискнул смешать, пусть и осторожно, следуя за линией партии, даже несколько юмористически, Христа с Марксом, пролетарский праздник с христианским. Его маевка – действительно «рабочая пасха»: «Мотя сказала, что маевка – это рабочая пасха. Но вот они уже добрых полчаса плывут вдоль берега, а до сих пор что-то не видать ни кулича, ни окорока, ни крашеных яиц. Впрочем, может быть, это так и полагается. Ведь пасха-то не просто пасха, а рабочая». Куличи, яйца – и бутылки, конечно, – в конце концов явились на свет божий. Поговорив о социальной несправедливости и пожаловавшись на притеснения, отметив таким образом День трудящихся, рыбаки не забыли и про Христа: «И сейчас же красавец Федя, развалившийся на корме своей великолепной шаланды “Надя и Вера”, заиграл на гармонике марш “Тоска по родине”. Откуда ни возьмись на всех шаландах появились крашенки, таранька, хлеб, бутылки. Матрос полез в свою кошелку, достал закуску и разделил ее поровну между всеми в лодке. Пете достались превосходная сухая таранька, два монастырских бублика и лиловое яйцо. Маевка и вправду оказалась веселой рабочей пасхой». Позволю себе только одно – чисто литературное – замечание. Кажется, Катаев придумал всю эту сцену только затем, чтобы на мгновение вывести на сцену красавца Федю, он выплывает на страницу романа в своей «великолепной шаланде “Надя и Вера”». Да-да, «Надежда» и «Вера» – не хватает только «Любы», но книга-то детская, так что Люба явится чуть позже.

Чуть ли не с самого начала маевка, празднование Дня солидарности трудящихся, в какой-то степени действительно являлась «рабочей пасхой», то веселой, а то и трагической. Рабочее движение было интернационалистским, так, по крайней мере, придумали Маркс с Энгельсом и так утверждали деятели международной организации, которая называлась Интернационал. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Марксизм поставил отношения собственности, эксплуатацию и классовую борьбу выше нации – и уж тем более выше религии, презрение к которой Маркс разделял со своими политическими

недругами, от буржуазных либералов до анархистов. С другой стороны, в национальных государствах и националистических движениях конца XIX века религии тоже пришлось несладко: почти везде церковь ставили на службу государству – или освобождению народа от гнета завоевателей. Так что, отрицая религию, этот «опиум для народа», марксизм, социал-демократия отрицали и национализм. Лето 1914 года и последующие сто с лишним лет показали, что марксизм проиграл. История социал-демократии времен *belle epoque* кончилась в тот момент, когда многочисленные левые фракции в парламентах Франции, Германии и некоторых других стран поддержали собственные буржуазные правительства, вступающие в войну.

Противник войны, великий французский социалист Жан Жорес, был убит шовинистом Раулем Вилленом 31 июня 1914 года. В каком-то смысле – в компании с несчастными австрийским эрцгерцогом Фердинандом и его супругой – он стал первой жертвой еще не начавшейся войны. Любопытна дальнейшая судьба Виллена: за убийство его приговорили к пожизненной каторге, однако в 1919-м, сразу после конца Первой мировой, он снова предстал перед судом и был оправдан, ибо «способствовал победе». Виллена ненадолго арестовали в Париже в 1920 году за сбыт фальшивых купюр, после чего он бежал на Ибицу, где мирно обосновался в доме, который он построил с помощью Поля Рене Гогена, внука знаменитого художника. В 1936-м отряд испанских анархистов высадился на острове и, заподозрив француза, который установил рядом с домом распятие, в шпионаже в пользу франкистов, арестовал его. В конце концов при невыясненных обстоятельствах анархисты застрелили Виллена. Не будь автор этого текста агностиком, он употребил бы известную поговорку «Бог шельму метит». Что касается Жана Жореса, то прах его был перенесен в Пантеон в 1924 году.

Жорес основал газету французских социалистов (потом коммунистов) «Юманите». У итальянских социалистов – своя газета, «Аванти!», в 1914 году ее редактором был Бенито Муссолини. Муссолини быстро перешел на крайне воинственные позиции, покинул ряды партии и основал другую, название которой известно до сих пор, став именем нарицательным да и просто ругательством. Чернорубашечники Муссолини подожгли штаб-квартиру «Аванти!» в 1919 году, после чего ее издание было перенесено за границу. Судьба Муссолини – одна из самых показательных для истории рабочего движения и, соответственно, для понимания праздника 1 Мая. Фашизм – как и нацизм – такое же детище пролетарской борьбы, как и коммунизм. Только

последний по-прежнему уповал на утопическое единство пролетариев всех стран поверх национальных и религиозных барьеров, а первые, наоборот, поставили нацию и даже расу выше всего прочего. В становлении нацизма важнейшую роль сыграл антисемитизм, также отмеченный социальной завистью – по версии Гитлера и его сторонников (в том числе и в нынешней России), во всем виноваты не просто «евреи», виноват «еврейский финансовый капитал», который для удобства пропаганды тут же объединили с «англосаксонским финансовым капиталом». Получается, что трудящиеся, имеющие «правильную национальность» (а кое-кто добавляет сюда и «правильную веру»), трудятся-трудятся, но все зря, ибо плоды их трудов похищают британские и американские банкиры-евреи.

Национализм, увы, победил интернациональную солидарность рабочих и навсегда отравил своими миазмами пролетарское движение. Я уже не говорю о том, что сегодня «пролетариат» как таковой, в терминах марксизма, мало где существует. В конце XIX – первой половине XX века под «пролетариатом» понимали прежде всего тех, кто работал в крупной индустрии. Большие заводы, гигантские толпы по гудку медленно втекают в фабричные ворота. Как писал в гениальном стихотворении Блок,

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам – по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

<…>

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Конечно, уже тогда марксистские теоретики сильно заблуждались – существовало огромное количество мелких предприятий, да и само слово «фабрика» вовсе не означало «большую фабрику». Это могла быть просто большая (или даже средняя) мастерская. К примеру, перед Первой мировой отец Франца Кафки попросил сына присмотреть за семейной фабрикой по производству асбеста. Она располагалась в пражском районе Карлин. Как-то из любопытства я решил найти фабричное здание – и в результате обнаружил каменный сарай, где могли

расположиться не более дюжины человек.

Еще одна любопытная вещь относительно «трудящихся», которые вроде бы должны проявлять 1 мая солидарность друг к другу, – это то, что не все трудящиеся считались таковыми, по крайней мере многими из социалистов и коммунистов. Все трудящиеся равны, но некоторые равнее прочих. Катаев отправляет на маевку рыбаков, однако в классическом ленинизме одесские рыбаки не являются пролетариями, ибо являются «владельцами средств производства». У них есть сети и шаланды. Вопрос о том, считать ли мелких производителей, ремесленников, кустарей и т. д. «трудящимися» не раз раскалывал социалистическое движение; к примеру французские социалисты XIX века отвечали на него вопрос положительно, а итальянские и испанские анархисты и вовсе чувствовали себя в «мелкобуржуазной стихии» как рыба в воде. Но Ленин со товарищи (и Эрнст Тельман с германскими коммунистами) записал сапожника и булочника во враги. Результат не замедлил себя ждать: обыватель, мещанин – вот кто поддержал Гитлера и составил его массовую социальную базу. Впрочем, в этой базе нашлось место и для настоящих пролетариев.

Сегодня же в странах Запада крупной индустрии почти нет, а там, где есть, она требует совсем небольшого количества рабочих рук. Под термином *working class* подразумевают социальные низы вообще – но только работающие «низы». Вряд ли можно включить сюда, к примеру, безработных, а уж тем более безработных во втором или в третьем поколении, то есть людей, которые никогда не работали. Более того, немалая часть *working class* в странах Запада, прежде всего Западной Европы, – трудовые мигранты. Остатки местного рабочего класса никаких теплых интернациональных чувств, никакой солидарности с трудящимся, приехавшими к ним из Польши, с Украины или из Турции, не чувствуют, чаще всего голосуя за собственных ксенофобов. К примеру, в Великобритании именно депрессивные бывшие рабочие города – вкупе с местами обитания провинциального среднего класса – поддержали *Brexit*. А на первомайские демонстрации в Лондоне ходят прогрессивные интеллигенты, журналисты, врачи, учителя и прочая публика, которую ни один марксист никогда не назвал бы «пролетариями».

И зря не назвал бы. Ибо слово «трудящиеся» вовсе не равно слову «рабочие», оно значительно шире его. Оно даже шире термина «наемные работники». В число последних, к примеру, входят крупные менеджеры или биржевые трейдеры, на доходы каждого из которых можно было бы содержать небольшой азиатский или африканский город. Формально же, с

марксистской точки зрения, эти богачи равны бедняку, который всю жизнь закручивает гайки на конвейере – ибо и менеджер, и рабочий завода продают свой труд, а их наниматель получает от сего прибавочную стоимость. Ну и, конечно, согласно Марксу, все они отчуждены от произведенного ими продукта.

Можно, конечно, тогда делить общество на классы по величине дохода: справа богатые, слева бедные. Но, как мы знаем, бедные часто голосуют за правых, а богатые – за левых. Так что и здесь ни серьезной политической позиции не выстроить, ни о солидарности не поговорить. Более того, если делить современный мир по такому довольно примитивному признаку, который на самом деле более характерен для доиндустриальной эпохи, то получается, что наш мир провалился в странную архаику – ни тебе классов, ни классовой борьбы, а вместо идеологии – пасхальные яйца на Праздник труда. Впрочем, «современность» современного мира, созданного мыслителями, инженерами, рабочими, солдатами, учеными позапрошлого и прошлого мира, сильно преувеличена. Об этом писал французский философ Бруно Латур[21]. Доиндустриальная архаика всегда с нами. Другое дело, что мы принимаем за нее многие вещи, изобретенные уже в наше, современное время, – как, например, национализм. Многие считают нынешний всплеск национализма чем-то ужасно дремучим, хотя понятно, что ни во времена Франциска Ассизского, ни во времена Ивана Грозного ничего такого просто не существовало. Сивуху национализма начали гнать из браги национального романтизма только в XIX веке, применяя изобретенные тогда механизмы общественного сознания.

Оттуда же, из XIX века, доставили в наше время – но уже в Россию, пока не во Францию или в Германию, слава богу, – пасхальные яйца на Первомай. В нынешнем русском смешении праздников Труда и Христа не стоит искать особенно глубоких корней, чем занялся весной 2016 года Геннадий Зюганов, напомнив пастве КПРФ, что живи Христос сегодня, он пошел бы на первомайскую демонстрацию в нашей партийной колонне. Кстати, никто не заметил в этом высказывании возмутительного богохульства. Дело в том, что Христос жив сейчас, он вообще жив всегда, ибо является одной из ипостасей Святой Троицы, он – Бог. Зюганова можно было бы заподозрить в неслыханном ницшеанстве («Бог умер», как мы помним), не будь его рассуждение продиктовано обычным благоразумием. Если Христос жив и собирается выказывать солидарность в рядах колонны КПРФ, то это он тогда должен возглавить ее, а не Зюганов, которому явно не по рангу вести за собой Сына Божьего.

Так что для всех будет лучше, если Христос успокоительно мертв, а во главе КПРФ стоит некто Зюганов, который, впрочем, с удовольствием выдал бы членский билет известному борцу за справедливость из Галилеи.

Но если Христос мертв, то праздновать Пасху бессмысленно. Однако российские коммунисты – вместе с многочисленными российскими гражданами другой партийной принадлежности – ее с удовольствием отмечают, одновременно отмечая День солидарности трудящихся в стране, где на месте социальной справедливости (и любой гражданской солидарности вообще) зияет гигантская пропасть. Получился удивительный праздник: невоцерковленные последователи универсалистской религии, верящие не в Бога, а в специального Русского Бога, ходят по майским улицам, демонстрируя солидарность с неизвестными им людьми, которых они на всякий случай боятся и даже ненавидят. По другую, западную сторону от бывшей советской границы по майским улицам ходят другие, наоборот, очень благорасположенные и сочувствующие, но не совсем понимающие, кому именно. А на юг и на восток от всего этого в огромных страшных заводских корпусах сидят миллионы людей и в ужасных условиях производят вещи для первых и для вторых. Но они на демонстрации не ходят. Им некогда. Надо работать, иначе можно помереть с голоду. Что же до богов, то они помолятся им в свободное время – только без красных флагов и лозунгов.

Парадизный, пальмирный, эрмитажный концерт

Концерт в только что отвоеванной у исламистов Пальмире (впрочем, через несколько месяцев им же благополучно и уступленной), который был сыгран в мае 2016 года на открытом воздухе оркестром Мариинки под управлением Валерия Гергиева и с участием самого известного виолончелиста в мире Сергея Ролдугина, произвел должное впечатление за пределами России. Внутри страны эффект был значительно слабее по понятным причинам – Прокофьев с Щедриным мало кого занимают, да и целевая аудитория подобных шоу проводила майские праздники известно где и известно каким образом. Впрочем, это был акт именно внешнеполитический, рассчитанный на тех, кто слышал имена Баха и Прокофьева, читал про новейшие панамские аферы и содрогается от видеотриллеров, изготовленных «Исламским государством» (организацией, героически запрещенной на территории России). То есть речь идет о среднем классе в Европе и Соединенных Штатах, причем именно о белом среднем классе, той его части, что испытывает осторожную фрустрацию по поводу «исламской угрозы», «нашествия беженцев» и «традиционных ценностей», что бы под ними ни подразумевалось. Именно этой этнической и социальной группе на Западе адресована новорусская риторика и пропаганда телеканала RT. Есть, конечно, еще и западные леваки, те, что не без отвращения поддерживают Россию в конфликте с Украиной, но они исходят из своих интересов. Их ненависть к Америке столь сильна, что они предпочитают, как им кажется, меньшее зло. Плюс, конечно, леваки обижены на украинцев, свергающих Лениных с пьедесталов. Здесь леваки правы – Ленин тут ни при чем, он страдает за Александра Третьего, повесившего его старшего брата. Возвращаясь к концерту в Пальмире – он не для читателей *Guardian* и *New Statesman*, ибо они любят музыку поновее Прокофьева – да и посложнее Щедрина.

В каком-то смысле пальмирский концерт стал потешной версией Крестовых походов. Те начались после того, как турки-сельджуки захватили Иерусалим с его главными христианскими реликвиями. Только в XXI веке, в отличие от XI, в поход отправились люди, вооруженные не копьями, мечами и луками, а смычками и дирижерскими палочками. Впрочем, чтобы доставить все это культуролюбивое войско в Пальмиру, понадобились боевые самолеты и вертолеты, ракеты, танки и автоматы, не

говоря уже обо всем прочем. Так или иначе, жест был сделан и воспринят должным образом. О реакции западной публики сказать что-либо невозможно – кроме того, что реакция явно была. Но вот содержание реакции политиков и прессы более понятно – и столь же предсказуемо. «Дурной вкус». «Демонстрация имперских амбиций России». «Запад с его либеральными ценностями оказался бессилен перед русским консерватизмом». Собственно, на этом можно было бы и закрыть сюжет – музыка сыграна, нужные слова сказаны, нужные средства освоены, героев-музыкантов и героев-военных украсили награды и премии. Плюс Мединский, этот новейший Боэмунд Тарентский, несколько укрепил свои пошатнувшиеся было позиции, побив карту скучного коррупционного скандала в своем ведомстве жирным тузом просвещенного героического патриотизма.

Конечно, все это то, что постсоветский человек называет «пиаром» – причем давно делает это безо всякого осуждения. «Пиар» стал такой же инструментальной, этически нейтральной частью российского сознания и речи, как «наезд» или «откат». Невозможно нечто разоблачить – или даже выразить к чему-то отрицательное отношение, – назвав это нечто «пиаром». Реальные вещи существуют рядом с рекламой несуществующих вещей, причем последние вовсе не являются менее реальными. Буддист хладнокровно отметил бы, что в мире сансары все состоит из отдельных дхарм, которые не лучше и не хуже других, и что «пиар» такая же дхарма, как и «любовь» или «котлета». Постсоветский гуманитарий с культурологическим уклоном непременно использовал бы словечко «симулякр», припомнив философа Бодрийяра. Человек без претензий на ученость или особую мудрость вспомнил бы небезызвестный американский фильм, который в России шел под названием «Хвост виляет собакой». Собственно, в этом смысле ничего больше из пальмирского концерта не выжать. Да, небольшой, но довольно громкий эпизод «гибридной войны». Да, все сделано ради картинки. Да, если присмотреться, то все это выглядит комично – сыграть Баха министру культуры, директору Эрмитажа, сотне собственных солдат и нескольким сотням чужих солдат, сотрудников изуверских спецслужб Асада и тщательно подготовленной массовке из «местных жителей».

Особенно забавно, что – выражаясь в духе «постколониальной теории» – перлы «западной» музыки исполняют «восточным людям», которые, скорее всего, эту музыку не слышали никогда (за Баха не поручусь, но уверен насчет Прокофьева и особенно Щедрина). Перед нами типичный колониальный жест, апеллирующий к «вечным ценностям» западной культуры (ибо

понятно, что не арабы построили все чудеса Пальмиры), у которых теперь нашелся истинный защитник (Россия). Эта апелляция на самом деле идет поверх голов как местного населения (а арабы заселили эти места несколько даже раньше создания Древнерусского государства; остальные этнические группы тоже не вчера появились в Сирии), так и традиционной местной культуры. Местное население – не говоря уже о местной культуре – в данном случае никого не интересует и даже намеренно не берется в расчет. А расчет таков: в какой-то далекой варварской стране идет гражданская война, у власти там наш друг, мы в этой стране зачем-то (уже не помним зачем, но неважно) держим военные базы, так что для поддержания нашего статуса великой державы нам надо показать, что великая держава – это не только великая армия (с этим не очень хорошо, но с помощью телекартинки мы изъяны заретушируем), это прежде всего великая культурная традиция. Мы привезем эту традицию (в портативном складном виде) на денек в варварскую страну, продемонстрируем нашим конкурентам в великой схватке за величие, потом соберем обратно и отвезем домой. Ведь на самом деле все равно, где смонтировать выездное лего высокой культуры, главное, чтобы подтянули провода с электричеством, привезли телекамеры – ну и охраняли, конечно, должным образом. То, что все это унизительно для местного населения, – неважно. Война все спишет. В конце концов, сириец, перемещенный из пальмирского амфитеатра в беженский лагерь в Германии, превратится для российской пропаганды времен гибридной войны из друга во врага.

И, конечно, Ролдугин. Странно, что ни один из либеральных фельетонистов не позубоскалил на следующую тему: выездная филармония в пустыне понадобилась для того, чтобы продемонстрировать миру – у С. Ролдугина действительно есть виолончель за миллиард долларов. Вот ее и возят по миру под охраной целой армии. Дело того стоит. На виолончели за миллиард играют Родиона Щедрина – именно здесь сошелся вороватый постсоветский капитализм и советская интеллигентская культура. Еще одной темой для шуток могло бы стать название сыгранного Ролдугиным в Пальмире произведения – «Кадриль». Уж не знаю, кто утверждал плейлист концерта, но ничего, кроме тонкой издевки в отношении несчастных сирийцев, здесь обнаружить невозможно. Хотя не исключено, что перед нами – тайный знак, понятный только российским VIP-зрителям концерта. К примеру, вдруг Гергиев (или даже сам Ролдугин с благословения своего друга-президента) намекнул таким образом Мединскому на некое возможное важное кадровое решение в

Министерстве культуры? Кадриль, как мы помним, решает все.

Участие виолончелиста Ролдугина в пальмирском концерте – это еще и жест в отношении неприятельского Запада. Мол, смотрите, вы обвиняете нашего великого музыканта и подвижника в том, что он отмывает деньги путинской элиты. Вы – просто критиканы и нечистые на руку клеветники, пляшущие под известно чью дудку, а этот рыцарь великой культуры и немногословного патриотизма просто берет в руки смычок и играет среди руин великой же культуры, руин, которые из-за ваших, Запада, происков стали еще бóльшими руинами. Вы разрушаете, а мы созидаем – покупаем виолончели за миллиард и играем на них в античных амфитеатрах. Хакеры и активисты, взломавшие панамские архивы, – анонимны, Ролдугин в белой бейсболке на фоне древностей и пустыни – персонифицированный образ новой-старой России, вернувшейся на Ближний Восток с самыми благородными, как всегда, намерениями. Этот образ спорит не с чем иным, как с портретом Лоуренса Аравийского кисти Огастеса Джона. У Лоуренса за поясом знаменитый кинжал, подаренный ему шерифом Насиром, двоюродным братом эмира Фейсала. У Ролдугина – смычок, подаренный президентом Путиным (пусть не лично подаренный, но по негласному его распоряжению).

Вышеперечисленное касается скорее намерений тех, что устроил пальмирский концерт, а также реакции телепублики. Разве что о реакции публики на самóм концерте мы никогда не узнаем, а жаль, было бы любопытно послушать, что думает по поводу всего этого российский солдат, или асадовский контрразведчик, или – уж тем более – житель Пальмиры, если таковые действительно там были. Но нас здесь больше интересует другое. Что думали люди, сочинившие это мероприятие? Откуда взялись элементы пальмирского шоу, слова2 для его описания, визуальный ряд? Наконец, как это соотносится с представлениями об истории, характерными для нынешней российской власти?

Начнем с названия всей акции. «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет старые стены». Здесь два любопытных пункта. Прежде всего, конечно, «молитва». Кому в данном случае молятся музыканты Мариинки, Гергиев, Мединский, Пиотровский, президент Путин? Вряд ли языческим богам Античности, хотя развалины Пальмиры исторически вроде бы в их сфере ответственности. Заманчиво, конечно, представить себе Ролдугина, возносящего молитвы ассиро-вавилонскому богу Баалу (Ваалу), чей храм был почти уничтожен боевиками «Исламского государства» – ведь, если верить Библии (Иер. 19: 4–

5), «наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу». Также не очень правдоподобно, что молились древнеримским божествам, отношение к которым у христианской церкви было не очень дружелюбным – а ведь все вышеперечисленные особы дважды в год (а то и чаще) посещают православную церковь. Сейчас же на этих территориях царствует не Юпитер, не Кибела и даже не Ваал, а Аллах. Многие его последователи, как известно, музыку не жалуют, да и вряд ли светское сочинение протестантского композитора Иоганна Себастьяна Баха – и уж тем более щедринская «Кадриль» – особенно здесь уместны. Что касается бога Русской православной церкви, то он делами Сирии почти не занимается и помочь вряд ли сможет. Так кому же возносятся молитвы Гергиева?

Бог, которому неустанно поклоняется российская власть, – идея Высокой Культуры, которая вся в прошлом, оттого безопасна и удобна для использования при первой необходимости. Культура, созданная надежно мертвыми людьми, культура, надежно огражденная от так называемой «реальной жизни» своим официально признанным статусом, своими намеренно архаическими институциями, любым билетером в филармонии или неприступной смотрительницей в Третьяковке. Такая культура неотделима от государства (как его представляет нынешняя власть), она в каком-то смысле является не только инструментом его, но и даже функцией. У Великого Государства должна быть Великая Культура. Эта культура является носителем идеи величия наряду с армией, полицией и бюрократией. Все они вместе и высадили десант в Пальмире, городе мертвой Высокой Культуры, которой угрожают варвары самых разных видов, от кровожадных фанатиков до циничных либералов.

Вторая фраза в названии акции, впрочем, сильно снижает пафос и сигнализирует о том, в каком именно историческом периоде застряло сознание пиарщиков Мединского. «Музыка оживляет старые стены» – это что-то из первой половины советских восьмидесятых, то ли фильм-концерт Валерия Леонтьева, снятый в помещении дореволюционного кабаре, то ли даже танцевальный вечер для тех, кому за тридцать, устроенный на южном курорте среди развалин непонятного происхождения. Или даже бардовский концерт для участников археологической экспедиции в Херсонесе. Конечно, пиарщики могли бы сочинить фразу и похлеще, и посовременнее, но здесь не особенно развернешься. Во-первых, непонятна целевая аудитория, она слишком обширна и как минимум двуязыка. Во-вторых, здесь не пройдет привычная зловеще-агрессивная риторика, пригодная

для чисто внутреннего употребления, – иностранцев пугать не надо. Так что пришлось придумывать нечто миролюбивое и сентиментальное. А что может быть миролюбивее и сентиментальнее, чем воспоминания о телепрограмме, виденной в родительской квартире в 1983 году?

Второй ключевой пункт – выбор композиторов для исполнения. Бах, Прокофьев и Щедрин. Я, конечно, далек от чисто профессиональных музыкальных соображений, но здесь прочитывается вполне определенная культурно-историческая логика. Один иностранец, совсем старый, и двое русских, из XX века. Бах отвечает за Высокую Мировую Культуру вообще, а также за общую Духовность (которая обычно и представляется в виде чего-то такого баховско-орга́нного. Как пела в те же 1980-е группа Стаса Намина, «Бах творит, и только звезды смотрят вниз, роняя слезы»). Еще очень важно – Бах жил до того, как в России появилась собственная академическая, высокая, светская музыка, так что он в данном случае не конкурент. Сергей Прокофьев в этой триаде отвечает за Патриотизм – благодаря музыке в фильму «Александр Невский», конечно. К тому же он бывший эмигрант первой волны, который вернулся в сталинский СССР, то есть патриот вдвойне. Наконец, Родион Щедрин в представлении организаторов концерта отвечает за «современную музыку». Здесь следует отметить несколько деталей. Прежде всего, Щедрин жив, что уж точно делает его «современным» в отношении Баха и Прокофьева. Во-вторых, он политически лоялен, доказательством чего является, к примеру, фотография, на которой Щедрин сидит рядом с Путиным на открытии новой сцены Мариинки в 2013 году. Наконец, в-третьих, Щедрин как бы оправдывает в глазах условного Мединского само понятие «современный». Ненависть нынешнего поколения культурных госменеджеров к действительно современному искусству известна, однако им приходится «современное искусство» терпеть. И вот здесь начинается тщательный отбор – не только по линии политической лояльности, но и в рассуждении понятности, народности, доступности и даже, в каком-то странном матрешечном духе, красоты. Оттого Щедрин, а не, скажем, Губайдулина или даже Мартынов. «Современное»? Хорошо. Пусть тогда будет кадриль. Ну и конечно, еще одно соображение. Родион Щедрин – знаменитый советский, прежде всего советский композитор (естественно, ничего плохого в этом нет). Характерно, что за Современность отвечал на пальмирском концерте именно он, а не кто-то другой.

И, конечно же, Мариинка. Северная Пальмира, город Пушкина, Путина и Гергиева, протянул руку помощи просто

Пальмире. Как писал в XIX веке поэт Михаил Милонов,

Я к вам от Северной Пальмиры
Теперь, настроя звуки лиры,
Хочу послание писать.

Титулом «Северная Пальмира» Петербург наградили еще в конце XVIII века, а в начале XIX это название можно все чаще увидеть в русских стихах и прозе. Предполагалось, что Петровская столица является таким же произведением искусства, как и античный город, он столь же совершенен, как и древние руины, которые как раз в это время стали откапывать из-под песков пустыни. И, как после Милонова скажут великие, он столь же умышленен. Любопытно, что именно этот мертвый от рождения, прекрасный, ложноклассический город, о котором Ходасевич писал «парадизный, пальмирный, эрмитажный Петербург», и есть «культурная столица» в представлении нынешней российской власти. Город Медного всадника, бронзового Пушкина, чугунного Александра Третьего, гранитного Ленина, город «Авроры» и Эрмитажа, классицистических названий, которые давно потеряли свое первое значение, став советскими маркерами соответственно «революции» и «культуры», город Александринки и Мариинки. Не город Зощенко, Хармса, Уствольской, Лидии Гинзбург, «митьков», Леона Богданова или уж тем более, группы «Ленинград» (я понимаю всю разницу между этими культурными феноменами, конечно). Именно такая «культурная столица» нынешней империи (и бывшая столица бывшей империи) посылает работников одной из своих высококультурных институций играть среди вечных руин. Пластик и позолота дешевого постсоветского ремонта на фоне античного мрамора и вечного песка пустыни.

И последнее. Конечно же, война и музы. Средний пиарщик из Минкульта помнит, конечно, и про Мэрилин Монро, и про Марлен Дитрих, и про Шульженко – все они (и сотни других артистов) выступали перед солдатами в военное время. Сделать что-то подобное в Сирии было затруднительно. Во-первых, и Монро, и Шульженко пели только перед своими солдатами. Здесь же солдаты есть, а войны – официального в ней участия России – нет. Так что получится некрасиво. Во-вторых, жанр. Кого из поп-певцов отправить в Сирию? Кобзон не подходит по национальности. Женщину нельзя. Газманова? Неприлично – все-таки будут показывать на весь мир. И тут в голову пришла «классическая музыка». Тем более что прецедент есть – и знаменитый.

9 августа 1942 года Седьмую («Блокадную») симфонию Шостаковича исполнили в осажденном Ленинграде – это был один из самых знаменитых концертов в истории академической музыки. Как известно, ему предшествовала серьезная подготовка, включая даже артподготовку – советская артиллерия попыталась на несколько часов подавить немецкие огневые точки. Музыкантов не хватало из-за голода и болезней. Часть из них пришлось отозвать из воинских частей, чтобы заменить выбывших из строя коллег. Седьмую симфонию Шостаковича транслировали по радио и громкоговорителям в городе. За три недели перед этим ее сыграли в Нью-Йорке – дирижировал Тосканини. Естественно, что все эти хрестоматийные факты о страшно торжественном концерте в Северной Пальмире всплыли в головах госкультурных чиновников, когда они затевали концерт в Пальмире. И вот именно за это – уж простите за моральное суждение – их и следует презирать. Все остальное ерунда, пиар.

Памяти потешной модернизации

В этом тексте речь пойдет о недавней истории времен Путина, собственно о временах, когда президентом был Дмитрий Медведев. Многие политологи считают именно 2011 год концом «старого путинского режима», в котором президент (или в 2008–2011 – премьер) Путин выступал в качестве условия и инструмента баланса между различными группами политической и экономической элиты – то есть был фигурой очень нужной, но отчасти даже и прикладной. Действительно, период с 2000 по 2011 год был – несмотря на все усиливающиеся черты авторитаризма – временем политического маневра и своего рода политтехнологической игры, частью которой стали попытки власти прикормить либеральную и творческую интеллигенцию. Большим мастером этого, как известно, являлся Владислав Сурков.

Пиком – и одновременно концом – этого периода стал 2011-й, год, когда все гадали, кто же станет баллотироваться от власти на президентских выборах – 2012. Самые наивные делали ставку на Дмитрия Медведева, считая его «модернизатором» и даже чуть ли не тайным либералом, который вот-вот стряхнет с себя морок путинского влияния и покажет себя во всей красе. Одни указывали на то, что будущий президент некогда преподавал латынь (будто бы обер-прокурор Константин Победоносцев, этот титан ледяного русского консерватизма, языков не знал), другие надеялись, что в отличие от Путина, которому секретари носят «распечатки из Интернета», Медведев компьютерно грамотен и даже энтузиаст продукции компании Apple, наконец, третьи вспоминали его домашние посиделки с немолодыми русскими рокерами. И всех отчего-то радовало юношеское увлечение Дмитрия Медведева группой *Deep Purple*.

Это прекраснодушие закончилось 24 сентября 2011 года, когда на съезде «Единой России» объявили, что избираться от власти будет опять Путин, а Медведев в качестве утешения возглавит партию и правительство. В сущности, перед нами одно из нескольких важнейших событий Новейшей истории России. После него произошли выборы в Госдуму, которые вызвали массовые протесты конца 2011 – начала 2012-го, явил себя новый курс и новый стиль кандидата Путина (вспомним хотя бы предвыборный митинг в Лужниках, где он зачитал собравшимся «Бородино» Лермонтова), произошла жесткая смена социальной базы всего режима с новой декларативной опорой на условный Уралвагонзавод, потом были президентские выборы,

хичкоковская инаугурация в пустой Москве с Григорием Лепсом в качестве массовки, наконец – отказ от системы, в которой президент есть политический брокер, Болотная и репрессии, все, что продолжается – нарастая – до сегодняшнего дня. Так что почти пять лет с конца 2011-го можно считать либо вторым, совсем иным периодом все той же «истории времен Путина», либо даже новой «историей времен Путина». Оттого, как мне кажется, было бы полезным вспомнить один уже забытый исторический юбилей 2011-го, юбилей важнейшего события российской истории, по поводу которого тогда было сказано несколько любопытных – и очень показательных – фраз. Сегодня ретроспективно тот юбилей кажется нам многозначительным – и предупреждающим о том, что случится после.

В марте 2011 года праздновали 150 лет отмены крепостного права. Информационное агентство писало об официальных торжествах по этому поводу: «В Санкт-Петербурге в четверг отметят 150-летие подписания одного из важнейших документов в истории России – Манифеста об отмене крепостного права. Между тем в “Единой России” считают, что в России до сих пор не изжито крепостное сознание…К юбилею подписания этого документа приурочена научно-практическая конференция “Великие реформы и модернизация России”… в Мариинском дворце. В работе конференции примут участие политики и ученые – историки, экономисты, юристы, а также общественные деятели, представители религиозных конфессий и дипломаты»[22]. Как мы видим, ключевые слова здесь «модернизация» и, конечно же, «великие». С тех пор первое слово основательно подзабыли, а второе стали прилагать не к существительному множественного числа «реформы», а к названию страны – «Россия». Кто теперь помнит, что при Медведеве только и говорили о «модернизации»? Сколько приятных научно-практических конференций и круглых столов для благонамеренных умеренных либеральных экономистов, социологов и политологов было под этой шапкой тогда устроено…

В тот же день, 3 марта 2011 года, по поводу юбилея отмены крепостного права высказался и сам президент Медведев (как дико на сегодняшний слух звучит это словосочетание – «президент Медведев»!): «Я придерживаюсь позиции, что Александр II получил в наследство страну, где главными институтами были крепостничество и военно-деспотическая вертикаль власти. Неэффективная экономика грозила стране крахом. Поэтому царь и его единомышленники, хотя это было и трудно, отказались от традиционного уклада и указали России путь в будущее – в этом их заслуга. <…> Я надеюсь, что Россия

XXI века будет свидетельством правоты и дальновидности реформаторов XIX века… по сути мы продолжаем тут курс, который был заложен полтора века назад»[23]. Здесь исторические параллели, которые сознательно прилагает к своему времени Дмитрий Медведев, еще интереснее. Он – как бы Александр II «Освободитель», принявший страну после мертвящей реакции Николая Первого и катастрофы Крымской войны. Значит, Владимир Путин в логике 2011 года выставлялся царем Николаем, который держал страну в узде тридцать лет, после чего умер в позоре поражения – и даже ходили слухи, что покончил с собой. Но неприятность заключается в том, что на момент произнесения этих слов Путин – Николай Палкин – был вполне жив, и даже на самом деле он, а не президент Медведев управлял государством. Более того, «путь в будущее», который «указал» Александр II, был путем к 1917 году и подвалу Ипатьевского дома, путем, станциями на котором были 1 марта 1881 года (убийство царя народовольцами), безумная политика Александра III («замораживание» России и русификация империи), наконец, несчастное царствование Николая II, начавшееся с Ходынки, продолжившееся Цусимой и Кровавым воскресеньем, затем было убийство Столыпина, Первая мировая и далее, во все более убыстряющемся темпе, движение к полному краху. Вряд ли бывший университетский преподаватель Медведев не знает всего этого. Просто он говорил нужные тогда слова – чтобы, опять-таки, не разочаровать тех, кто надеялся на него и его «модернизацию». Эти люди тогда были нужны власти.

Вот о забытой «модернизации» стоит здесь поговорить несколько подробнее. Дело в том, что столь легкомысленно использованный Дмитрием Медведевым термин имеет отношение к процессам, которые происходят в мире уже более ста лет. Ученые спорят о том, что такое «модернизация», существует довольно популярное понятие «догоняющая модернизация», наконец, некоторые утверждают, что «модернов», то есть типов «современного общества», есть несколько и условный «Запад» вовсе не единственный.

Драма модернизации, переживаемая многими обществами и государствами, есть порождение прогрессистского, линейного мышления, возникшего на Западе в Новое время (*Modernity*). Тут важно отметить, что линейное мышление, восторжествовавшее вместе с христианством, долгое время отчетливо носило не только «теологический», но и телеологический характер. Цель этого движения была заранее задана; речь шла только о его скорости. После «века Просвещения» цель постепенно заменилась на само движение, которое и стало наиболее ценным;

коммунисты и радикальные социалисты перехватили у церкви образ окончательного, далекого и идеального Будущего, образ же Сегодня (и ближайшего Завтра) во второй половине XIX века перешел к мейнстриму буржуазного либерального сознания. Так закладывалась одна из основ понятия «модернизации» – идея «современности», «современного» как главной ценности. Когда юный поэт Артюр Рембо восклицал, что поэзия (читай – все искусство) должна быть современной и только современной, он на самом деле повторял азы буржуазной идеологии своего времени. «Современный», то есть «соответствующий нынешнему времени», – вот фундамент будущего понятия «модернизации»; после чего остается разрешить только один вопрос: соответствующий какому нынешнему времени? Чьему нынешнему времени?. Когда цитируемый в знаменитой книге Эдварда Саида «Ориентализм» (1978) лорд Бальфур рассказывает членам британского парламента о миссии империи – сделать Древний Египет «современным», – он, не зная того, встает в один ряд с дерзким парижским коммунаром Рембо. Любопытно, что поэт, бросив писать стихи в очень молодом еще возрасте, отправился в Судан заниматься то ли работорговлей, то ли торговлей оружием. Символично видеть столь очевидное проявление колониалистского оттенка тогдашних представлений о «современном», «современности».

На тему «модернизация и колониализм» мы еще поговорим, а сейчас вернемся к идее прогресса, основанной на линейном мышлении. «Прогресс» вовсе не существует «для чего-то»; его цель – он сам, его собственное движение: чем быстрее, тем лучше, тем современнее. Если впереди нет отчетливой цели вроде Страшного суда и если возвышенность идеологии (а любая идеология возвышенна) не позволяет провести в секуляризированном обществе трансформацию, сводящую прогресс к удовлетворению самых банальных материальных целей, остается сам этот прогресс как процесс, как побудительный мотив – и как конечная цель. Не стоит обманываться фразами вроде того, что «прогресс приведет к счастью человечества»; вряд ли тот же лорд Бальфур, искренне пекущийся о Британской империи и наилучшем обустройстве полуколониального Египта, думал о «счастье египтян». Но он не рассуждал и в циничных понятиях «власти над египтянами», «ограбления Египта британцами», «полного господства». Его идея «правильной колонизации» страны фараонов заключалась в том, чтобы сделать ее современной, то есть модернизировать.

Вернемся к вопросу: если модернизация должна привести некое общество в соответствие с современностью, с сегодняшним

днем, тогда с чьим же? Кто задает этот образ «современного», к которому следует столь безоглядно стремиться? Самый распространенный ответ: Запад. Вне характерной для Нового времени оппозиции «Запад есть Запад, Восток есть Восток» понятия «модернизации» просто не существует. Эта оппозиция существовала почти что всегда, но только в «буржуазную эпоху» она получила совершенно иное содержание. Прежде всего потому, что до Нового времени не было не только «модернизации», но и главной предпосылки ее – западного понятия «современный». Напомню, идея «современности» (но не сам термин) возникает в конце эпохи Ренессанса; с ее помощью тогда определили наступивший исторический период в отношении предыдущего – Средневековья. Античность дала самые высокие образцы, после нее наступило время варварства и упадка, но вот сейчас все самое лучшее возрождается, обогащенное, конечно, неизвестным высокой Античности христианством. В этом смысле «быть современным» – значит «следовать древним». Позже, в конце Средневековья, место Другого для «современности» стал занимать Восток. По мере этого изменился характер отношений с Другим: от средневекового человека, давно исчезнувшего к концу XVI века, невозможно было требовать, чтобы он соответствовал возрождающей Античность «современности» (хотя, конечно, требовали, но не от людей, а от институций, скажем, от университетов, сохранивших свои старые задачи и структуру). Теперь же, когда Другой оказался «современником», только живущим несколько южнее и/или восточнее, идея сделать его *up to date*, «модернизировать» (но уже, конечно, безо всякого следования древним) постепенно завоевала умы, составив главное объяснение, оправдание и целеполагание колониализма. Примерно так же дело обстояло там, где Другой находился внутри собственной страны.

И вот здесь опять встает вопрос: кто же модернизирует?. В рамках системы, которую я пытался описать выше, на него есть два ответа – в зависимости от типа ситуации «модернизации». Ответ первый – «колонизатор», «завоеватель», «внешняя сила». Здесь все достаточно просто – и с мотивами, и, собственно, с инициаторами, и с действующими силами. Второй вариант значительнее сложнее – это когда импульс модернизации исходит изнутри самого общества, от ее элиты (или части элиты). Многие считают, что это случай России. Такой случай не только более сложен, он более интересен и сомнителен одновременно – об этом написана нашумевшая книга Александра Эткинда «Внутренняя колонизация»[24]. Для того чтобы начать модернизацию собственного общества, элита (или ее часть)

должна сознательно поставить себя вне, но не теряя связи с обществом, иначе быстро теряется мотивация и происходит прискорбный отрыв. Во второй половине XIX века часть элиты Российской империи смогла сделать это, пусть даже результат и оказался совсем не тем, что ожидалось, это, собственно, и привело к печальному исходу через 56 лет после отмены крепостного права.

Если же вернуться к 2011 году и к болтовне тогдашнего президента Медведева, то все это кончилось еще быстрее, хотя и не так печально. Причина этого как раз в слове «болтовня». Александр Второй не только был вынужден – он действительно захотел провести реформы, «модернизацию». Дмитрий Медведев и правящая элита образца 2011 года, во-первых, никакой потребности в настоящих реформах не испытывали, а во-вторых, и не хотели на самом деле их проводить. Тут важна была риторика – и ее конкретная политическая цель, поддержание баланса между либеральными и традиционалистскими (если не сказать криптофашистскими) устремлениями разных частей элит. То есть все это было частью политтехнологической операции по обеспечиванию сохранения власти, пусть и в ином формате. Естественно, что и медведевские либеральные порывы – вместе с его «модернизацией» – начисто забыли уже году в 2013-м.

Что же до понимания необходимости реформ и вообще трансформации страны, общества, власти в условно «модернизационном», «современном» направлении, то сегодня – мы говорим уже о 2016 годе – никакой необходимости в этом нет, как нет и возможности. И дело не только в том, что идеологическим прикрытием «российской власти призыва 24.09.2011» в наши дни стала охранительная, традиционалистская, националистическая болтовня. Просто самого понимания нужности трансформации, нужности быть «современным» у выращенной в путинские 15 лет российской элиты нет и быть не может. Соответственно, те, кто еще помнит «потешную модернизацию» Дмитрия Медведева, винят в ее провале и забвении не себя, а кого-то другого. Ну как в 2011-м бюрократы из «Единой России» ханжески жаловались на собственный народ, в котором якобы «не изжито крепостное сознание».

Смысла нет, но все держатся

Вспомним два относительно недавних события, которые – если забыть о воспаленной публицистике и кислых смешках – могут рассказать немало интересного об историко-политическом мышлении российской власти, предоставить в наше распоряжение первоклассные пробы нынешнего российского цайтгайста. Первое из этих происшествий наделало немало шуму, причем комического свойства; над героем его издевались все кому не лень[25], хотя грех, конечно, издеваться над несчастным человеком, которого и поставили-то на его нынешнее место, чтобы сделать объектом насмешек. Речь идет о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве, который 23 мая 2016 года, посещая Крым, решил пообщаться с не очень эффективно отсеянным «народом». Его ответ на жалобы о том, что пенсия маленькая и, к тому же, не индексируется, был настолько наивно-циничным, что даже бывалые зубоскалы развели руками и почти пожалели неловкого премьера. Как известно, Медведев сказал буквально следующее: «Мы вообще не принимали [индексацию]. Просто денег нет сейчас. Найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья». Действительно, сложно сказать, чего здесь больше: цинизма или глупости; однако те, кто тут же стал издеваться над Медведевым, неправы. В каком-то смысле он ведь искренен. Денег на индексацию пенсий – именно у его правительства и именно в условиях нынешнего политического режима с его системой приоритетов – действительно нет. Так что остается только пожелать согражданам переждать столь тяжелые времена, и не такое бывало.

Не стоит недооценивать Медведева. Просто премьер (и экс-президент) сделал жест философский, в духе Людвига Витгенштейна, утверждавшего, что цель философии не в изобретении новых фактов, а в размещении уже существующих (тех, в которых мы наверняка уверены) в наилучшем порядке. Вот Медведев и разместил – денег в бюджете на индексацию нет (первый факт), никакого желания и потребности искать деньги для индексации у власти нет (второй факт), остается только пожелать гражданам не сильно переживать по этому поводу и как-то выжить (третий факт). Порядок идеальный, так что ничего смешного.

Второй уровень гораздо интереснее, хотя тоже имеет отношение к очевидным фактам. Дело происходило в Крыму, который был захвачен Россией за два года до того. Захват Крыма

происходил под лозунгами «восстановления исторической справедливости» и «заботы о русскоязычном населении». Как мы знаем, забота о населении Крыма – которое в большинстве своем вроде бы проголосовало (пусть и не на законном референдуме) за российскую оккупацию – не была проявлена властью должным образом. Не буду описывать здесь все проблемы, возникшие в результате крымского аншлюса, – они общеизвестны. Причин тому несколько, от тотальной российской коррупции и цементного цинизма Кремля до экономического кризиса, который, хоть и затормозился несколько, все же продолжается. В любом случае «денег сейчас нет». Соответственно, и «заботы» никакой не получилось – жители Крыма на самом деле Российскому государству не нужны. Пишу это безо всякого публицистического темперамента, просто констатирую факт. Они не нужны, так как Крым захватывали совсем не ради его жителей. Это сделали ради совсем другого, что описывается, крайне неточно, формулой «восстановление исторической справедливости». История же в понимании российской власти (и, увы, значительной части российского общества) к «людям» имеет весьма опосредованное отношение. Она о другом, соответственно, «историческая справедливость» тоже о другом. О чем? И здесь нам на помощь приходит второй инцидент с российскими руководителями.

В конце мая 2016 года состоялось заседание президиума так называемого Экономического совета при президенте РФ, на котором выступил Алексей Кудрин. Кудрин возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР), который вроде бы должен неолиберальным образом влиять на загадочную (на самом деле, отсутствующую) экономическую политику президента. Учитывая относительную близость Кудрина к Путину, на него возлагают умеренные надежды умеренные законопослушные российские либералы, которые превозносят успехи этого экономиста в 2000-х годах в деле создания финансовых резервов. У главы ЦСР с его совершенно очевидной программой действий (урезание госрасходов, упор на развитие частного бизнеса, улучшение инвестиционного климата в стране и прочие давно известные вещи) есть соперник, занимающий странную должность бизнес-омбудсмена. Борис Титов неолиберальным предложениям противопоставляет этатистские меры в духе идей британского экономиста первой половины прошлого века Джона Мейнарда Кейнса – увеличение госрасходов, усиление роли государства в экономике, выпуск дешевых денег, инфляционная политика и т. д. Путин, считающий баланс мнений вокруг себя идеальным бэкграундом собственной власти, пока придерживает обоих

советчиков на примерно одном расстоянии, благосклонно прислушиваясь то к одному, то к другому. То есть не «благосклонно» на самом деле, а «равнодушно», ибо все эти отвлеченные, как ему кажется, споры к реальности не имеют отношения. И он прав. К реальности политического режима Путина образца 2016 года никакие экономические теории действительно не имеют отношения, ибо они всегда используются не в тех целях, для которых они сформулированы, – не для создания мощной, хорошо работающей современной экономики, обеспечивающей гражданам страны нормальный уровень жизни. Неолиберальные разговоры о свободном рынке, кейнсианские проповеди о необходимости государственного управления и поддержания высокого инфляционного спроса – все это нужно власти только для того, чтобы (а) избегать прямой ответственности за собственный провал в социально-экономической сфере, для чего под рукой всегда должен быть мальчик для биться, (б) создать видимость общественно-политической дискуссии о «судьбах страны», видимость политики, в конце концов, в условиях, когда никакой политики в стране нет. Верховная власть, парящая над этими разговорами – которые продолжают, странным образом, волновать остатки политически-ангажированных, крайне малочисленных групп населения, – как бы выводит себя из процесса обсуждения и даже принятия стратегических экономических решений. Власть выше этого. Власть не про экономику. Власть – помещик, а делами занимаются управляющие поместьем. Если кто из управляющих что-то не то сделал, то виноват именно он – и будет заменен другим.

В таком примерно духе и проходило последнее заседание президиума Экономического совета. Экономисты говорили, президент молчал, не выказывая особой вовлеченности в дискуссию. И тут Алексей Кудрин имел неосторожность отметить, мол, нужно снизить «геополитическую напряженность», и тогда Россия вновь «встроится в международные технологические цепочки» и в страну вернутся иностранные инвестиции. Кудрин – человек осторожный, так что неопределенным термином «геополитическая напряженность» замаскировал авантюристическую внешнюю политику РФ последних лет, перессорившую ее со всем миром, кроме Венесуэлы и Башара Асада. Кудрин – человек осторожный, а Путин – бывалый, и он все понял, что тот имел в виду. Как утверждают очевидцы (заседание, конечно же, закрытое, и информация поступила из-под кремлевской двери, что характерно), президент поставил экономиста на место: «Пусть страна в чем-то отстала, но у нее

тысячелетняя история, и Россия не станет торговать суверенитетом, сказал Путин, пообещав защищать его, причем не только пока будет президентом, но и до конца своей жизни (со слов двух участников совета)»[26]. Президент еще добавил, что не Россия «первая начала».

В этом сюжете примечательно даже не то, что на вроде бы разумные и рациональные слова Кудрина Путин ответствует странным заклинанием, не имеющим никакого отношения к реальности. Здесь-то как раз все понятно. Нынешняя разновидность путинского режима полностью отказалась от любой апелляции к Разуму, к Рацио, которое есть продукт европейской культуры, – а Россия, по их мнению, никакая не Европа. Даже когда произносятся слова о том, что только Россия может спасти «европейские ценности» от уничтожения их аморальными либералами и варварами-мигрантами, подразумевается, что Россия спасет снаружи, с расстояния, дистанционно, а не изнутри. То есть оставаясь «сама собой», «суверенной» в терминологии президента Путина. Здесь мы видим отсыл, пусть и не отрефлексированный, к знаменитым высказываниям сразу двух персонажей романов Достоевского – «Подростка» и «Братьев Карамазовых». Версилов говорит: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия; каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же точно была Отечеством нашим, как и Россия… О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим!» Иван Карамазов развивает мысль: «Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище… вот что!.. Дорогие там лежат покойники, каждый камень под ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни, и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище, и никак не более». Собственно отсюда в русском, а потом и советском интеллигентском сознании и укрепилось убеждение, что Европа «кончилась» и что там одно кладбище и одни камни. Любопытно: ведь «Подросток» и «Братья Карамазовы» написаны около ста тридцати лет назад – и «Европа» с тех пор претерпела несколько стадий серьезнейших изменений. То, что оплакивает Версилов и Иван Карамазов, – Европа средневекового благочестия (выдуманного), Европа Просвещения (обоим персонажам довольно чуждого) и Европа Канта, Гегеля, Фихте, Гете, Европа Высокой Добуржуазной Культуры. Европа, которую «оплакивает» нынешняя российская пропаганда, – Европа того

самого периода, когда Достоевский сочинял свои романы, Европа империй, национализма, больших армий, буржуазного «красивого» искусства, вроде импрессионистов, понятного относительно образованным обывателям. Иными словами, путинский режим хотел бы оказаться в Европе тогда, во второй половине XIX – начале XX века, причем в той же самой роли, что и Россия Александра II – Николая II. Это роль важнейшего политического и военного игрока, который прекрасно существует сам по себе, с которым Владычица Морей Британия на равных соперничает в «Большой игре» на Востоке, дружбы которой ищет даже республиканская Франция. Заметим также, что место США было тогда относительно скромным, что не должно не нравиться путинским идеологам. «Американская гегемония» началась в том же роковом 1917-м, что и распад Российской империи, – Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну, перескочив через установленные ими самими пределы «доктрины Монро», и стали мировой державой. Год спустя Александр Блок пишет «Скифов» – стихотворение, в котором Россия представлена ордой диких варваров-азиатов «с раскосыми и жадными очами», влюбленных в Европу, но, увы, безответно. Так что пеняйте, европейцы, на себя, если не явитесь в положенное «варварской лирой» время «на братский пир труда и мира».

Собственно, полуграмотным пересказом этих трех цитат российская пропаганда по поводу Европы и исчерпывается. Более того, нет идеи более далекой от нынешней России, чем «братский пир труда и мира». «Мир» для путинского режима возможен только вооруженный, в котором все участники игры зорко следят друг за другом, схватившись за рукояти револьверов, как в финальной сцене дуэли на троих в фильме «Хороший, плохой, злой». «Труд» для них подразумевает, что кто-то там где-то трудится, а мы участвуем в «справедливом» (для нас) распределении плодов этого труда. Револьверы важнее мира. Распределение плодов труда важнее само*го* труда. «Суверенитет» важнее «экономики» (и «благосостояния граждан»). Не мы первые начали, так что граждане потерпят, будут держаться. Денег нет.

И вот здесь встает последний вопрос – о характере и происхождении представления об «исторической справедливости», ради которой стоит захватывать территории соседних стран, не особенно заботясь о том, что с ними делать потом. Той самой «исторической справедливости», что дает возможность РФ быть разом и «суверенной», и «отсталой» безо всякого ущерба. Никакого отношения к «советскому», в чем не раз упрекали Путина и его соратников, все это не имеет. СССР, советский экспансионизм и империализм были основаны на

убежденности в собственном – и реальном, и грядущем – научно-техническом и технологическом превосходстве. Заводя союзников на Востоке и Юге, СССР готов был строить там электростанции, заводы, готовить у себя специалистов из этих стран и т. д. Советская модель была привлекательна потому, что была «современна» и за ней было «будущее». То же самое говорились и собственному, советскому населению. Недостатки в повседневной жизни, неудобства, дефицит – все это объяснялось необходимостью создания будущего, причем будущего для всех, не только для самих советских людей. Подобный интернационалистский гуманизм был риторическим, конечно, порой циническим, но он апеллировал к единственной атеистической ценности, ради которой стоит пострадать, – к светлому будущему для всех. Такова советская справедливость. Ее можно было ненавидеть и презирать (и совершенно справедливо чаще всего), но она являлась мощнейшим фактором в мировой жизни, ибо это была «справедливость будущего».

А для сегодняшней России справедливость может быть только «исторической», то есть такой, что существовала когда-то в (воображаемом) прошлом – и канула навсегда. Ее можно пытаться «восстановить», но даже министру Лаврову понятно, что это частичная и выборочная реставрация, которая заранее обречена на неуспех. «Восстановить» империю невозможно. Вновь отправить казаков в Париж или Берлин – тоже. Устроить возглавляемый Россией новый Священный союз согласятся разве что афонские монахи, да и то вряд ли. Озарять мир солнцем по-настоящему великой культуры, от Достоевского и Тургенева до «Русских сезонов», тоже силенок не хватит, даже если министр Лавров будет сочинять по стихотворению в день, а его сотрудница Захарова примется плясать «Калинку» на каждом утреннем совещании МИДа. Что же до советских примет величия, вроде космоса и физики, то об этом надо забыть, ибо отсталость есть следствие тысячелетнего суверенитета, так что это даже хорошо, что здесь России предложить миру просто нечего.

Помимо вполне очевидных последствий для позиции России в мире, а также для российской экономики, у всего этого есть еще одна – крайне опасная – сторона. «Держаться», как советовал премьер Медведев, можно только в том случае, когда чего-то «ждешь». Ждать можно «будущего», а не индексации на 10 % пенсии в 8 тысяч рублей. Это не значит вовсе, что ожидание – пусть даже и с «хорошим здоровьем» – приведет к стремительной смене «доброго, хорошего настроения» настроением недобрым и нехорошим. Скорее оно приведет к социальной апатии и окончательному всеразрушающему общественному цинизму – а

такое уже случилось в период примерно с 1980-го по 1991-й. И тогда может восстановиться еще одна «историческая справедливость», но уже придуманная другими людьми.

Глава V
Угасание смыслов

Тихие дни на Первой горе

В Казани, чтобы укрыться от жары, нужно идти в скверик при Доме-музее Владимира Ильича Ленина на улице соответственно Ульянова-Ленина, 58. Мы с приятелем, осоловев от многочасового дрейфа по этому удивительному городу, который местами похож то на Дубай, то на Лас-Вегас, не сговариваясь направились к тихой зеленой пристани, что укрылась в стороне от больших улиц. Сквер с небольшой аллеей перед фасадом бордового деревянного двухэтажного дома с балконом, посередине аллеи – длинная клумба в стиле «скромненько, но чистенько», по бокам – милые удобные скамейки, на одной из которых сидит мамаша с ребенком, а на другой – немолодой человек, похожий на инженера советских времен. Он читает книжку. Тишина. Густая листва соорудила под деревьями островки прохлады, плюс ветерок, так что можно сидеть здесь часами и почитывать, как инженер, или просто предаваться радостям родительской любви. Или просто остывать от жаркого города, который вонзил голубые кремлевские минареты в небо. И, конечно, разглядывать памятник Ленину, он здесь примерно такой же, как был когда-то в Автозаводском парке города Горького, только тот стоял на постаменте. Сейчас там никакого Ленина нет, а в Казани есть и стоит почти на земле, так что вполне соотносится с обычным человеческим ростом. Да, чуть выше, конечно, любого из посетителей, но налицо диалектика: тезис «великий Ленин», контртезис «самый человечный из людей», и вот синтез: величие и человечность разом. В каком-то смысле здесь воплощена так и не состоявшаяся идеологема позднего СССР: сделать социализм сразу человечным и великим, уютным и наводящим ужас на буржуев. Примером такого социализма должен был стать сам вождь социалистической революции, но тогда не получилось, а сейчас – через 25 лет после конца СССР – здесь, в казанском сквере, как-то само сложилось.

Посидев в тенечке, вдоволь насмотревшись на деревья, кусты и аллеи, на фасад вполне обывательского (но довольно зажиточного) старого дома, пережившего – и это видно даже с расстояния – прекрасную реставрацию, довольно тонкую, которая сделала постройку и современной и исторической разом, поизучав педагогические навыки казанских мамаш и круг чтения местных интеллигентных жителей, мы решили – хотя бы в знак благодарности за приют – посетить сам музей. Должен признаться, я никогда не был ни в одном музее Ленина, не считая Мавзолея, куда меня, четырехлетнего, затащила мама по

непонятной – как мне кажется, даже ей самой – причине. Избежав сомнительного удовольствия обязательного посещения подобных мест, я с истинным удовольствием решил посмотреть на музей Ленина добровольно. И не разочаровался.

На входе нам продали билеты и заставили надеть огромные холщовые бахилы полярницкого вида, что сделало перемещение по залам музея чем-то схожим с походом Руаля Амудсена или Роберта Скотта на Южный полюс. Да, мы двигались осторожно, боясь поскользнуться и не то чтобы разбить экспонат, нет, просто нарушить безмятежность музейных залов. Мой приятель коллекционирует значки, он попытался обнаружить ленинскую парафернaлию в ларьке, торгующем всяческой ерундой, но тщетно – кроме невнятного украшения, на котором и имени-то Ленина не разглядеть, там не было ничего. Зато в фойе музея можно обнаружить мини-выставку, упрятанную в стеклянный шкаф. Там представлены русские издания романов Гюго, Диккенса, «Унесенные ветром» и другая классическая советская переводная литература, некогда украшавшая румынские гарнитуры в квартирах интеллигентных семей. На выставке каждую книгу окружают куклы в нарядах условного XIX века, на мой невнимательный первый взгляд – середины и второй половины столетия, так как одежды участников Венского конгресса 1815 года, фрака, в котором мог щеголять Жюльен Сорель, или платья Наташи Ростовой, только что вывезенной в свет, там вроде нет. Как бы «условная история» и «условные дамы и господа», «леди и джентельмены» – символы чисто советского интеллигентского представления о «Культуре», «Европе» и вообще «прошлом до коммунистов». Между прочим, этот выдуманный «культурный Запад» сыграл не столь уж безобидную роль в истории советского и постсоветского интеллигентского сознания. Прежде всего, он утопил в сладком сиропе действительную культуру и действительную литературу Европы и Северной Америки XIX века, затушевав, казалось бы, очевидный факт – в этой литературе речь идет о страданиях, персональных драмах и трагедиях, о социальном неравенстве и – да-да! – ожесточенной политической борьбе, иногда принимающей форму войны наций и классов. Представлять XIX столетие как тихое благопристойное время любовных романов, шопеновских вальсов, смешных цилиндров и неопасных разговоров о никому уже не интересных политических делах – значит не понимать, что все ужасы XX столетия происходят именно оттуда. Это как если видеть в Англии сплошные сельские пейзажи, игру в крикет и пересуды тетушек за вечным файф-о-клоком – или представлять Париж «городом романтической любви» из рекламного слогана на сайте

турбюро. Реальность Европы, «Запада» настолько потрясает и разочаровывает постсоветского русского человека, что некоторые так никогда и не оправятся от подобного потрясения. Собственно, здесь и мое во-вторых. Нынешнее массовое недоразумение в головах россиян (нет, точнее – в головах зрителей русского телевидения, что количественно гораздо шире, чем просто «граждане РФ») по поводу Европы, их удивительное желание давать европейцам советы по поводу того, как надо устраивать жизнь (без «толерантности», без феминизма, без «зеленых», с ЛГБТ, надежно запрятанным на задворках жизни, и, самое главное, без расово чуждых элементов) происходит именно от этого потрясения при встрече с европейской реальностью, совсем непохожей на романы Гюго, Бальзака или Диккенса. Точнее, она-то как раз похожа, но на настоящие романы вышеперечисленных авторов, а не те образы, что некогда сложились у тоскующих по открытому миру читателей за железным занавесом. Те образы оказались гораздо более живучи, нежели сам железный занавес. Доказательством чему – экспонаты стеклянного шкафа в фойе казанского музея Ленина.

И вот мы заходим на саму экспозицию, оставаясь в пространстве XIX века. Но в пространстве русском и советском одновременно. Экспозиция делится на две части. В первой представлены материалы, касающиеся истории семьи Ульяновых, кое-что о Владимире У. – Л., немного о Казанском университете и о тамошних волнениях, которые стоили будущему Ленину студенческого билета. Еще два стенда посвящены казанским происшествиям в годы Революции и Гражданской войны: все-таки Ленин был тем человеком, без которого подобные происшествия не имели бы места – или происходили бы совсем в иной форме. Любопытно, что даже внимательное разглядывание витрины и развешанных на стене исторических фото и документов 1917–1918 годов не предлагает ответов на очевидные вопросы гипотетического посетителя, не сильно искушенного в истории России XX века: как происходили здесь Февральская и Октябрьская революции? В чьих руках был город во время Гражданской?. События 1917–1920 годов даны здесь как обычный, чуть ли не планомерный переход власти из одних рук в другие, безо всяких особых потрясений; так, небольшие неприятности, не больше. Прав Путин: у нас была великая история с отдельными недостатками. Здесь, в музее, эта правда явлена в полном своем сиятельном спокойном могуществе.

Естественно, я не мог не поинтересоваться у сотрудницы, сидевшей в зале, о том, что же в городе происходило в те бурные кровавые годы. Насчет революций ответ был вполне

безмятежным, мол, все им радовались, посмотрите на фото, сколько людей на улицах ликуют под знаменами. Проявлять занудство и выяснять, по поводу какой именно из революций происходило ликование, Февральской или Октябрьской, я не стал. Зато о событиях Гражданской войны в Казани моя собеседница не была осведомлена, только сказала, что здесь одно время хранили некий «золотой запас». Мое предположение о том, что тогда здесь должны были быть чехи и/или Колчак, осталось незамеченным. Зато нам много рассказали о стоимости жизни в 1880-х годах, о непростой финансовой ситуации семейства Ульяновых в связи со смертью кормильца Ильи Николаевича, неявно была упомянута трагическая судьба старшего брата Саши, а также с равным сочувствием рассказаны как история притеснений университетской автономии в первое десятилетие царствования Александра Третьего, так и история вызванных этими притеснениями знаменитых студенческих беспорядков в Казанском университете в декабре 1887 года. Удивительный пример какой-то новой, невиданной доселе историографии – разделяющей позиции всех противоборствующих сторон, против всякого рационального здравого смысла, который тонет в задушевной, сочувственной интонации повествования. За этой странной неразличающей задушевностью чудится какое-то окончательное, принципиальное равнодушие – так в учении Махаяны Будда сочувствует всем, но как-то вот так, не до конца на самом деле, ибо знает, что в итоге ничего нет, а значит, ничего и не важно.

Но все это пустяки по сравнению со второй частью экспозиции музея. В ней реконструирован образ жизни семейства Ульяновых с сентября 1888-го по май 1889 года. Сначала несколько фактов – для тех, кто подробно этой истории не знает, собственно, почти для всех. Володю Ульянова исключили из Казанского университета после волнений декабря 1887 года, в которых он принял активное участие. Три дня ареста, лишение студенческого билета и высылка «по месту жительства» – таковым семья объявила деревню Кокушкино той же самой губернии. В Кокушкине была усадьба, некогда купленная Александром Дмитриевичем Бланком, отцом Марии Александровны Ульяновой, дедом Ленина. Больше года, проведенные там, стали для Владимира У. – Л. довольно важным временем – мемуаристы и позднейшие биографы отмечают, что он читал много русской общественно-политической публицистики и даже романы, среди которых, конечно же, главное место заняло «Что делать?» Чернышевского. В каком-то смысле и усадьба, и образ жизни Ульяновых в Кокушкине, и сама фигура исключенного из

университета, «политического» студента – сюжет вполне чеховский, провинциальный. Уверен, что именно это – если держать в памяти не собственно чеховские тексты, а их позднесоветские интерпретации, особенно театральные и кинематографические, – отражено в самом духе и стиле экспозиции казанского музея. Не поспоришь – Ульяновы были интеллигентными обывателями с запутанной финансовой историей, что для тех времен характерно, жизнь они вели соответствующую, предметы быта – такие же, как у представителей их социальной группы, да, собственно, и образ мысли вполне описывается неявными общими словами народнической идеологии. За рамками политики – своей страсти и своей единственной профессии – Ленин оставался мещанином. Об этом говорили Ходасевич и Набоков, издеваясь над теми, кто приписывал политическому авангардисту Ленину авангардистские художественные вкусы и поведение «белокурой бестии». Отнюдь. Он любил играть в шахматы, ел на завтрак яичницу, за границей не упускал случая побаловать себя светлым немецким пивом, эстетов на дух не выносил, к мистически настроенным большевикам относился с подозрением, а революционное поколение авангардистов использовал (успешно) в качестве идеологического оружия, не более того. В своих обывательских вкусах Ленин вполне соответствовал не только большей части своего социального класса в тогдашней России – интеллигенции, особенно провинциальной, он, как в зеркале (как ни парадоксально это звучит), отражал многие представления своего врага, царя Николая Второго и его окружения. Тот же Набоков писал, что литературные вкусы Романовых были самые традиционные, даже Чехова при дворе считали каким-то то ли декадентом, то ли вообще.

Собственно, вторая часть, реконструкторская, экспозиции казанского музея – об этом. Не о великом революционере и ниспровергателе царизма и буржуазного порядка Владимире У. – Л., а о семье средних интеллигентных обывателей, ничем не выделяющихся, разве что двумя обстоятельствами. Но они искусно спрятаны здесь, в музее, так что неискушенный посетитель и не найдет. Первое обстоятельство – то, что один член этой семьи был террористом, несостоявшимся цареубийцей, закончившим жизнь на эшафоте. Второе – что другой член этой семьи уничтожит сам порядок вещей, частью которого Ульяновы были. Все остальное – старые книжечки, рюшечки и кисея занавесочек, лоскутные одеяла и чайные приборы на столах реконструкторов.

Владимир У. – Л. читал «Что делать?», а мать его просто

делала – хлопотала за него и за дочь Анну, чуть было не отправленную в Сибирь по делу Александра Ульянова. Хлопоты увенчались успехом, и семье разрешили вернуться в Казань, где Ульяновы и поселились во флигеле дома Орловых на Первой горе. Мать, пятеро детей и няня заняли два этажа; на эту диспозицию можно полюбоваться сегодня. Первый этаж – прихожая, кухня, комната няни и еще одна кухня, которую переоборудовали под комнату для Володи. «Политический» экс-студент имел возможность незаметно покидать дом и возвращаться – у него был свой собственный вход. На втором этаже расположились Мария Александровна с дочерьми Ольгой и Марией (одна спальня), а также, уже сепаратно, Дмитрий и Анна. Владимир У. – Л. в университете восстановиться тогда не мог, так что получил возможность зажить жизнью юного обывателя, вместо чего он, как мы знаем, налаживал контакты с местными недовольными, в основном народниками. В городе был даже марксистский кружок Николая Федосеева. Официальные советские биографии приписывают Владимиру У. – Л. участие в нем, однако, увы, молодые ниспровергатели основ так и не встретились, хотя позже и состояли в переписке. Вскоре Федосеев был арестован и попал в тюрьму, потом еще и еще раз. Покончил с собой в 1897 году в ссылке в Восточной Сибири. Печальная история.

В мае 1889 года Ульяновы решили уехать из Казани и купили имение Алакаевка в Самарской губернии. Попытка наладить сельхозпроизводство провалилась, Володя, которого мать попросила стать управляющим, не справился, а местные крестьяне делали чужакам мелкие и крупные пакости. Имение пришлось продать и переехать в город, теперь уже в Самару. Тоже, кстати говоря, вполне чеховская история.

Вторая часть экспозиции Дома-музея Владимира Ильича Ленина в Казани представляет все что угодно, только не Ленина и даже не потенциального Ленина, не Владимира У. – Л. Это музей обывательского интеллигентского быта русской провинции второй половины XIX века – в том виде, в котором она представляется почитателям фильмов «Мой ласковый и нежный зверь» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Все очень трогательно, экспонаты расставлены в идеальном порядке, кровати застелены. В столовой на столе сервиз – хоть сейчас садись и предавайся чаепитию, этой истинной страсти коренного волгаря. Впрочем, если присмотреться, то можно заметить некоторые забавные анахронизмы – тот же сервиз, скорее всего, подарен спонсором – производителем «изящного фарфора», дизайн стульев напоминает о не пришедшем еще тогда в Россию

стиле модерн, а лоскутное одеяло в комнате няни можно сегодня обнаружить где-нибудь на ярмарке удмуртских, марийских или мордовских народных промыслов. Но все это неважно. Ведь перед нами типичный фейк, который интересен сам по себе, как продукт нашего времени, а не свидетельство об истории 120-летней давности.

Конечно, никаких «вещей семейства Ульяновых» здесь нет, есть вещи, которые объявляют «вещами эпохи семейства Ульяновых». В этом смысле – несмотря на серьезные трудности, с которыми наверняка столкнулись создатели экспозиции (а она новая – музей вновь открыли после капитальной реконструкции лишь несколько лет назад), – задача выполнена и получился типичный именно европейский музей несуществовавшего быта существовавших культурных и политических героев прошлого. К примеру, в Праге лет десять назад был открыт частный «музей Франца Кафки». Он расположен на Малой Стране, в туристическом ренессансном и барочном районе, который почти никак не связан с жизнью писателя. Музей этот – наряду с венской квартирой-музеем Зигмунда Фрейда и прочими заведениями того же рода – представляет собой совершенно новую, «коммерческую» разновидность персональных музеев; обычно они создаются частными людьми для получения прибыли. Билеты в такие музеи стоят дорого, экспозиция состоит в основном из «вещей той эпохи», которые могли бы окружать «писателя К.», «психоаналитика Ф.» (впрочем, в последнем случае в квартире-музее психоаналитика стоит настоящая кушетка! *cool*). В эпоху создания национальных государств музеи устраивались как памятники формирования наций и национальных культур; сама структура этих музеев предполагала, что выставленные вещи уже логикой своего размещения в музейных залах должны вести зрителя к осознанию важности и уникальности исторического пути того или иного народа (или пути того или иного писателя, художника, ученого). Идея нации и национальной культуры возникала из сочетания предметов, специальным образом размещенных в залах. Гегелевская диалектика: количество исторических вещей переходило в качество национальной идеи. В случае же «новых музеев» не идея, например, «великого писателя» исходила из совокупности собранных в музее личных его вещей; наоборот, «идея великого писателя» придает «истинность» выставленным (довольно случайным) предметам.

Так что Владимир У. – Л. ретроспективно придает «легитимность», истинность приведенному в порядок барахлу из антикварных лавок и блошиных рынков, размещенных в Доме-

музее имени его же, что на улице Владимира Ульянова-Ленина. Вот в комнате брата Дмитрия микроскоп, в который тот мог бы смотреть. И книга, которую он мог бы читать. Вот взбитая подушка на материной кровати, на которую многодетная вдова могла бы приклонить свою усталую голову в конце полного суеты, дел и тревог дня. Вот, наконец, форменная студенческая шинель висит в комнате Володи, он вполне мог бы ее надевать, а то и накидывать на плечи, как было принято в те времена – мы ведь знаем, что так было принято, мы смотрели кино. Хотя насчет шинели, думаю, это новодел и индпошив. Ну, и конечно, регулярно обновляется мой самый любимый экспонат музея – то ли засушенный букет, то ли веник, висящий на стене в прихожей.

Неяркое рассеянное освещение музея вкупе с его экспонатами и общим саундтреком из редких шорохов, шагов и отдаленно звучащей музыки (уже из соседнего дома) создает ощущение, что ты попал в какой-то соловьевский фильм, в атмосферу нежной позднесоветской меланхолии, когда все уже закончилось и осталось только бродить по остаткам былой жизни – но эти остатки создаются в уже псевдоисторическом, искусно руинированном виде прямо сейчас. Глядя на обои с цветочками, будто с суперобложки выходившей в СССР в 1970 – 1980-х в переводе Н. Любимова эпопеи Марселя Пруста, я думал, что, в сущности, это такое Комбре и что, выходя вечером из дома на прогулку, юный Владимир У. – Л. мог выбирать, куда направить стопы, – к народникам или марксистам, как прустовский Марсель колебался между передвижением в сторону Свана и по направлению к Германтам. Но это неверная анология, она ушла довольно быстро, уступив другому, гораздо более сильному ощущению, что вот сейчас из дальней комнаты выйдет в скромном платье с кружевным воротничком Татьяна Друбич.

В отличие от музеев Кафки или Фрейда главный трюк здесь не срабатывает. Легитимизация великим именем не получается по простой причине – даже те, кто никогда не читал «Превращения» или «Процесса», более или менее представляют, кто такой Франц Кафка, что-то такое про медленные бюрократические кошмары. Ну и вообще великий писатель, бесспорный классик. Про Фрейда тоже все понятно, европейский интеллигентный обыватель ментально обитает в мире, рассказанном на той самой знаменитой кушетке. А вот с Лениным все сложно для нынешней российской власти и нынешнего российского общественного сознания. С одной стороны, он часть той самой «великой истории», которой – несмотря на некоторые издержки оной – следует гордиться. Плюс, чисто прагматически, не стоит раздражать так называемых

«российских коммунистов» и их посконный электорат. Этот электорат – чисто путинский, так что пусть любят своего Ленина, бог с ними. Но, с другой стороны, Ленин был, о ужас, революционером, во-вторых, ужас-ужас, великим революционером, быть может, самым последовательным революционером в мировой истории. Именно он уничтожил ту самую дореволюционную Россию, которую столь старательно копирует путинский режим, Россию безответственных царей, устаревших генералов, чванливых губернаторов-взяточников, усатых полицейских и казаков с нагайками, официозной церкви, имеющей мало общего с (довольно опасным для власти, надо сказать) христианством как таковым, Россию «черной сотни» и черносотенных писак, которых так удобно натравливать при случае на «внутреннего врага». Собственно, Ленин и его товарищи «подобрали» ту Россию 1913 года, что якобы «потерял» Станислав Говорухин, и сделали из нее совсем другую, которая в конце концов превратилась в Россию нынешнюю, 2016-го.

Объяснить все это посетителям казанского музея невозможно – а посетители здесь бывают, это нам с приятелем повезло и мы ходили тут в полном одиночестве. Сюда возят китайских туристов – по понятным причинам. Иногда сотрудницы музея одеваются в платья как бы конца XIX столетия и изображают «дворянский» (!) быт. Иногда заезжают свадьбы, о чем свидетельствует реклама на музейном сайте. Конечно, захаживают члены КПРФ и просто так, и чтобы справить 22 апреля. Особое внимание музей уделяет детям и подросткам – в том самом скверике, где мы с приятелем прятались от жары, юных принимали в пионеры. А для тех, кто чуть постарше, есть специальное помещение, где они могут без помех поиграть в «Монополию». Да, и еще местное отделение КПРФ подарило музею те самые бахилы.

Прощаясь, мы выразили музейным работницам свои восхищение и благодарность. Одна из них, растрогавшись, сказала: «Приходите еще! Ближе к осени. У нас же тут при музее отличный огород. Очень вкусные помидоры и огурцы – угостим. А наливочка какая, эх». Надо бы заглянуть, вкусить ульяновских плодов.

Беженцы от реальности

Теперь, когда почти все слова по поводу *Brexit* уже сказаны, когда быстрые эмоции превратились в устойчивый эмоциональный фон глубочайшего кризиса, который переживает Британское государство и общество, пришло время подвести некоторые предварительные итоги этой катастрофы, столь нелепой и столь сокрушительной, что до сих пор невозможно поверить в нее. Речь здесь пойдет не столько о собственно причинах и смысле нынешних событий в Соединенном Королевстве, сколько об общеевропейском их значении, в том числе и о том, насколько все это имеет отношение к России. На самом деле имеет – и очень серьезное.

Безусловно, говоря о *Brexit*, невозможно хотя бы не упомянуть о чисто британских чертах произошедшего. Тот факт, что в течение 24 часов большая страна оказалась на грани распада, без правительства, без нормально функционирующих главных политических партий, без сколько-нибудь понятного будущего в отношениях к Европейскому союзу (и ко всему миру), сами обстоятельства мгновенных финансовых потерь, превращения Британии в своего рода европейского изгоя – столь стремительный обвал всей системы, которая еще несколько дней назад казалась устойчивой и даже незыблемой, стал возможным исключительно из-за особого устройства Британского государства и общества. Удар оказался столь сильным, что мгновенно обнажились почти все слабые точки системы, о большинстве из которых мало кто знал. В каком-то смысле, очень отдаленном, можно вспомнить Февральскую революцию в России, когда, казалось бы, ничтожные события всего за три дня привели к краху.

Еще раз: британские особенности сказались на скорости катастрофы, но не на ее содержании и направлении всего процесса. Последнее касается современного западного мира вообще, в том числе и России, сколь бы она ни отделяла себя от остальных. Что касается этих чисто британских черт, то они таковы.

Первое. Глубокая деградация правящего в стране политического класса, которая стала следствием весьма архаичной, унаследованной из XIX (а то и из XVIII века) сословной структуры общества. Премьер Дэвид Кэмерон, его оппоненты внутри Консервативной партии, вроде Бориса Джонсона, – типичные представители британской элиты, представители которой по большей части меняют друг друга у

власти. Это выходцы из очень богатых и, самое главное, очень укорененных в сословной системе семей, окончившие частные школы и Оксбридж, позже подвизавшиеся либо в консервативной прессе, либо в финансовых структурах, куда их взяли не за особые заслуги, а следуя печально известному принципу *one of us*. Эти люди не имеют ни малейшего представления ни о жизни подавляющей части населения страны, ни, что еще важнее, об устройстве собственного государства и общества. Их мир ограничен рамками нескольких институций, верхушкой медиа– и финансовой среды, а также парой дюжин богатых и знатных семей страны. Их представления о том, что происходит за пределами Великобритании, еще более отрывочны и скудны. Наконец, долгое существование в рамках двухпартийной системы сильно ослабило представление об ответственности за свои политические поступки – этой социальной группе всегда казалось, что британская политическая система столь стара и столь надежна, что может выдержать любые проделки бывших оксбриджских шалунов. Потрясшая окружающий мир безответственность абсолютно всех участников этой драмы, от Кэмерона, который три года назад, чтобы выиграть парламентские выборы, решил поиграть с публикой в референдум, до авантюриста Бориса Джонсона, готового развалить собственную страну только потому, что ему вздумалось посидеть в премьерском кресле, коренится именно здесь. В отличие от немецких, французских и даже итальянских политиков британский правящий класс попросту незнаком с представлениями об ответственности – и сейчас выставил себя в истинном свете. Жалкие политические трюки, с помощью которых Кэмерон, Джонсон, Гоув и другие пытались добиться своих частных целей, напоминают героя знаменитого романного цикла Пэлема Грэнвила Вудхауза, милого, идиотичного, никчемного аристократа Берти Вустера, раз за разом изобретающего все более абсурдные комбинации. Мир Берти ограничен кругом сокурытников по университету, таких же бездельников, как и он, родственниками, несколькими другими аристократическими семьями и членами его лондонского клуба. От житейских катастроф Вустера спасает незаменимый слуга Дживс, взявший на себя всю ответственность за жизнь и поведение шалопая. Иногда Вустеру надоедает эта опека и он поднимает бунт против Дживса; бунт всегда кончается одним и тем же – возвращением к *status quo*. В подобной системе заинтересован не только Вустер, но и сам Дживс – ведь это он принимает решения, ведь это Вустер под его властью, а не наоборот. В июне 2016-го условный Берти Вустер поднял бунт против условного Дживса – и внезапно

победил. А сейчас он сидит, обхватив голову, в полном отчаянии среди развалин некогда уютного мира. И тот мир уже не вернуть.

Второе. Правление Маргарет Тэтчер – и последовавших за ней кабинетов, вне зависимости от их партийной принадлежности, – глубочайшим образом изменило Британию. Из индустриальной страны с мощным рабочим классом и разветвленной системой социального обеспечения Соединенное Королевство превратилось в испытательный полигон для самых крайних неолиберальных идей. Почти 80 процентов экономики страны составляет так называемая «сервисная экономика», а основой ее стал лондонский Сити – мощнейший международный финансовый центр. Тэтчер открыла возможности – и в Сити потекли деньги со всего мира, ведь о происхождении этих денег здесь никто не спрашивает. Финансовый бум привел к «пузырю недвижимости», но в остальных областях человеческой деятельности дела в Британии обстояли не столь успешно, если не сказать скверно. Переориентация экономическая привела к слому социальной структуры и – что не менее важно – к деградации системы общественных ценностей. Возникла глубочайшая пропасть между богатыми и бедными, подобная той, что была в первой половине позапрошлого века. В результате в британском обществе, традиционно устойчивом и тонко и сложно устроенном, началось отмирание горизонтальных социальных связей, многие группы населения – и даже социальные классы – как бы «окуклились», потеряв контакт с другими, а значит, и представления о реальности. Тэтчер хотела превратить Британию еще в одну Америку, но под «Америкой» она имела в виду прежде всего совершенно безграничный культ денег и социальный эгоизм, не понимая, что этими чертами «Америка» далеко не исчерпывается. Перенос и внедрение этих наивных представлений в британскую жизнь оставили серьезный отпечаток на местном обществе.

Третье. Если британские правые представлены во власти зловеще-анекдотичными вустерами, то левые, лейбористы, оказались столь же беспомощными по совсем иным причинам. Сегодня непонятно, кого именно политически представляет Лейбористская партия. Возникнув как партия рабочего класса и трудящихся вообще, она почти лишилась привычного электората в восьмидесятых, когда Тэтчер покончила с традиционной промышленностью (особенно на севере страны), а вместе с ней – и с немалой частью рабочего класса. В 1990-е Тони Блэр с соратниками нашел выход, придумав «новый лейборизм», сочетавший улучшенный тэтчеризм в экономике с леволиберальной риторикой в политике. За лейбористов стали голосовать иные люди, нежели раньше, но новый электорат

оказался неустойчивым, ибо в партии Блэра видели не альтернативу простодушному неолиберализму консерваторов, а удобную временную замену. Старый же избиратель от лейбористов постепенно отворачивался, так что – за некоторым и важным исключением – партия превратилась в клуб прекраснодушных левых интеллигентов, почитывающих клубную газету *Guardian*. Традиционный избиратель лейбористов ушел как бы в тень, его почти перестали замечать, и он отчасти и помалкивал – до выхода на политическую арену правых националистов-популистов во главе с Найджелом Фараджем. Эти голоса сначала обеспечивали успехи фараджевской партии UKIP, а на референдуме определили исход голосования. Лейбористы забыли о бывшем рабочем классе, и он отомстил, опровергнув вздорные интеллигентские иллюзии о пролетариате как о свободолюбивом интернационалисте. Семьдесят лет назад Джордж Оруэлл писал о том, что в Британии антисемитизм силен прежде всего среди рабочих. Оруэлл, как всегда, прав.

Четвертое и последнее. Великобритания – очень странно устроенное государство. Здесь нет писаной конституции. Здесь во многих областях жизни по-прежнему существует прецедентное право. В отличие от Германии или Франции юридическая логика здесь не очевидна – точно так же, как и логика функционирования государственных институций, многие из которых весьма архаичны, если не сказать странны. Очевидные нелепости могут выглядеть милыми для окружающих, мол, еще одна британская традиция, вроде файф-о-клока, вполне в духе того же сериала про Дживса и Вустера или про аббатство Даунтон. Более того, сложность и запутанность юридического и государственного обихода часто была спасительной для страны, не позволяя радикальным (или просто опрометчивым) политикам нанести серьезный урон – они просто запутывались в этой системе, как мухи в паутине. Но стоило прибегнуть к политическому инструменту из другого набора, к прямому голосованию на референдуме, как паутина поползла по всем направлениям, обнаружив гигантские дыры. В эти дыры хлынул хаос, ксенофобия, расизм и прочие неприятные вещи.

Это все, казалось бы, чисто британские черты – и я еще не упомянул типичный британский изоляционизм, недоверие к устройству жизни в континентальной части Европы, высокомерие и проч. Однако подобные, казалось бы, чисто локальные черты так или иначе представлены в политической, социальной и даже культурной жизни прочих европейских стран и России. И если можно извлечь из нынешней британской катастрофы так называемые «уроки» для окружающих стран, то прописи к этим

урокам следует искать здесь же.

И в Европе, и в России правящий класс находится в пугающей изоляции от жизни страны. Причины тому разные, однако в России ситуация усугубляется тем, что правящий класс намеренно находится в изоляции, сознательно противопоставляет себя остальному обществу и абсолютно не желает ничего о нем знать. Британские вустеры испытывали и испытывают иллюзии по поводу собственной страны из-за особенностей их социального происхождения и традиционной сословной системы. В России общество просто не принимается в расчет теми, кто находится у политической и экономической власти. Иллюзия того, что населением страны можно бесконечно и безо всяких последствий манипулировать, чрезвычайно опасна.

Несмотря на все расхождения и даже нынешнюю взаимную враждебность, Европу и Россию объединяет неолиберальный подход к экономике. Интонации разные: к примеру, в России под «рынком» имеется в виду «рынок для своих», лояльных, «приближенных к власти». При всех национальных оттенках неолиберальной риторики европейский и российский правящий класс объединяет отсутствие даже приблизительного представления о том, что у идеи «невидимой руки рынка» может быть серьезный конкурент и оппонент (не считая, конечно, мобилизационной экономики, которую любят пропагандировать некоторые в России). Подобный подход приводит к стремительной маргинализации части местного населения, в услугах которого подобная экономика больше не нуждается. Зато она нуждается в дешевой приезжей рабочей силе – так социальная пропасть дополняется ксенофобией того самого местного бывшего рабочего класса. Сегодня не лавочники, а трудящиеся и безработные составляют ядро националистических популистских движений. С этой частью населения никто серьезно не «работает» в смысле интеграции в современные политические и социальные структуры, ее просто кормят таблоидами и самым вульгарным телевидением, придерживая до случая, чтобы элита могла использовать новых – массовых – маргиналов в своих узких политических целях. В Британии их использовали для того, чтобы совершить смену власти в Консервативной партии. В России замах шире – для подавления протестного движения и придания устойчивости позднепутинскому режиму. Однако – и здесь мы возвращаемся к проблеме удивительной безответственности нынешнего правящего класса – инструмент этот используют, не понимая, из чего он состоит, какова его пригодность для подобных целей и, самое главное, что будет потом. Представление, что десятки миллионов людей можно выпустить

промаршировать одной колонной в заданном направлении и под нужными лозунгами, а потом преспокойно вернуть их всех назад, – самая глубокая и опасная иллюзия. Всплеск «народной ксенофобии» в Британии после референдума намекает на то, что может в гораздо больших масштабах произойти в других странах. Путинский популизм мобилизовал массы для придания устойчивости пошатнувшейся в 2011 году системе, а сейчас тихой сапой объявлена демобилизация. Проблема в том, что мобилизованные этого не понимают – и продолжают действовать соответствующим образом.

Наконец, самое удивительное. *Brexit* открыл для многих британцев собственную страну в ее истинном виде. Благонамеренные либералы, видевшие в Соединенном Королевстве многонациональную страну, почти избавившуюся от национализма, гендерного неравенства, маяк мультикультурализма во все более дичающей Европе, проснулись в совершенно иной реальности. С другой стороны, те, кто голосовал за выход из Евросоюза то ли из желания выказать свой протест, то ли по причине бытовой нелюбви к своему соседу-мусульманину, сегодня жалуются, что их обманули, что они не знали, за что отдают свой голос, и вообще мечтают обратить время вспять и проголосовать за *Remain*. Этих людей не жалко – прежде всего потому, что их никто не обманывал, они сами хотели быть обманутыми. Все факты были в их распоряжении – другое дело, что они не хотели этих фактов, они не хотели реальности, предпочитая ей медийный пропагандистский образ. Вышеописанное имеет полное и прямое отношение к российскому обществу, меньшинство которого видит корень бед в медийном оболванивании населения, а большинство зачарованно смотрит в телевизор, не желая, даже боясь отвлечься от шинельных вралей ради очевидных фактов. Рано или поздно телевизор сломается и всем этим людям придется занять себя чемто другим. То, что они увидят за пределами потухшего экрана, вряд ли их обрадует.

Старые снимки современности

В соцсетях – в основном англоязычных – есть такой жанр. Кто-нибудь вывешивает фотографии из жизни Афганистана, или Ирана, или Ирака, сделанные в тот момент, когда жизнь там была (или казалась) другой, нежели сейчас. То есть лучше. Обычно на этих фотографиях женщины или девочки, европейские прически, короткие платья и юбки; дело происходит обычно либо в школьном классе, либо во дворе университетского кампуса, реже – на автостоянке, в торговом центре и даже в баре или ресторане. Фон подобных снимков представляет собой набор того, что плохие публицисты называют «приметами современности», – учебники, модернистская архитектура и дизайн, автомобили, самолеты, заводские трубы и т. д. Иногда – на самых лучших фото – можно углядеть деталь иного мира, затейливый пуфик, кусок глинобитной стены, башню минарета вдали, даже навьюченного тюками мирного ослика где-нибудь на заднем плане. Эти детали намекают на то, что победительная драма современности, триумф модерна разыгрывается на фоне мира глубоко традиционного, старого и даже отсталого. Да-да, мы имеем право назвать его «отсталым», вот они – приметы прогресса, которые пришли и победили. Так что пусть милая старина тоже поприсутствует, но только в небольшом количестве и в качестве детали, вроде того же ослика, которого обгоняет стайка энергичных черноволосых девушек, будто из итальянского неореалистического фильма 1960-х. Только это совсем не Италия, не «Запад», пусть даже и Южный Запад, это «Восток». И перед нами освобожденные женщины Востока.

Так эти фото были задуманы, сделаны и опубликованы, именно с такими намерениями и идеологической подоплекой. Визуальное воплощение триумфа современного мира над несовременным. Сейчас же, 40–50 лет спустя, те же снимки вывешивают в соцсетях исключительно для того, чтобы продемонстрировать крах современности и ее атрибутов в тех местах, наглядно продемонстрировать всю глубину падения и все могущество победившей там Традиции и Архаики. Как писал Державин, где стол был яств, там гроб стоит. Хиджаб одолел короткие юбки. Шариат низвергнул Академию.

Перед нами пример чистой меланхолии историко-культурного свойства, даже особого рода ностальгии – ностальгии по несвершившемуся будущему. Будущее было совсем рядом, а сейчас в тех краях рыщут мрачные бородатые фанатики и по ходу дела угнетают укутанных в черные одежды женщин.

Будущее обещало свершиться здесь, оно было явилось в виде школ, университетов, техники, эмансипации и даже тряпок, которые не постеснялась бы надеть на себя Твигги. Но что-то пошло не так, то ли в 1979-м, когда в Иране произошла исламская революция, а советские вторглись в Афганистан, заставив местное население вспомнить про ислам, то ли даже позже – неизвестно. Главное, что несчастье стряслось и мы имеем то, что имеем. Остается постить старые фото далеких стран и получать сочувствующие комменты от френдов.

В русских соцсетях ту же функцию выполняют советские фото 1960-х, чуть реже – 1970-х. Не все, конечно. Мало кого вдохновит на печальные вздохи меланхолии снимки с военных парадов или с заседаний XXV съезда КПСС. И бытовые фотографии, сделанные в не самых приятных местах тогдашней страны с ее глубоким неустройством, небрежно укрытым за одинаковыми фасадами хрущевок и брежневок, тоже не подходят для таких целей. Но вот толпа вдохновенных физиков, которые спешат на встречу с прекрасным, олицетворенным заглянувшим в Академгородок бардом, или группа серьезных людей в роговых очках, они внимательно разглядывают пробирку, в которой налито что-то темное, или веселые советские дети, покоряющие на байдарках какую-нибудь речушку, – все это вызывает исключительно «эх, было время…». Даже столь сомнительный в рассуждении алчбы по прошлому предмет, как соцстроительство, типовые девяти– и четырнадцатиэтажки, новые микрорайоны, снятые с птичьего полета, сама микрорайонная жизнь с небольшим количеством машин, с выходящими из львовского автобуса номер 32 людьми, с редкими очередями за апельсинами, все то, что наводило тоску на интеллигенцию 1970-х, что запечатлено в десятках книг и фильмов того времени, от трифоновского «Обмена» до кисло-сладкой «Иронии судьбы», – все это также стало объектом ностальгии, переходящей в перманентную меланхолию. Ведь там, где когда-то одиноко стояла «Союзпечать», заселенная непременной тетенькой из бывших учительниц или киоскером с вечной «казбечиной» в уголке рта, там сейчас бог знает что. То ли шаверма, то ли «Мегафон», то ли вообще секс-шоп под загадочной вывеской «Планирование семьи».

Несмотря на всю разницу, объект ностальгии в первом и во втором случае одинаков. Мы, собственно, уже назвали его. Это «современность», которую находишь и в фото курдских школьниц кануна рокового 1979-го, и в снимках только что выстроенных Черемушек. Она дана в виде самых разных деталей и примет. Сегодняшний глаз не замечает, что школьницы сидят по трое за узкой партой, что у них нет ничего, кроме бумаги и ручки, что в

новом микрорайне не посадили деревья и туда вряд ли ходит транспорт. Это частности, главное – она здесь, современная, настоящая жизнь в главных своих проявлениях: науке, технике, образовании, секуляризме и возможности беззаботно – в цивилизованных пределах – радоваться жизни после плодотворного рабочего дня. Собственно, именно в этой точке сходятся советский проект «хрущевской современности» и чаяния лидеров «национально-освободительных движений» так называемого третьего мира. Как мы знаем, и то и другое провалилось, причем провалилось с треском. Просвещенные, часто выученные на Западе предводители антимонархических, антиколониальных, антиклерикальных революций превратились в зловещих хусейнов, каддафи и арафатов, а оттепель Хрущева обернулась разочарованием в любом проекте социально-справедливого, «современного» будущего. Можно сколько угодно смеяться над знаменитой формулой, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, но вот фраза «Уже нынешнее поколение советских людей будет жить, как и живет сейчас, в условиях совершенствования развитого социализма» вообще никаких реакций вызвать не могла. Впрочем, и это еще ничего. Попробуем ради интереса составить подобную формулу для нынешних времен. «Уже новое поколение российских людей будет жить при Владимире Путине». «Уже нынешнее поколение российских людей будет жить при Никите Михалкове». «Уже новое поколение российских людей будет жить при цене на нефть в 50 долларов». «Уже нынешнее поколение российских людей будет жить при том, при чем оно уже сейчас живет». Уныло. Безнадежно. От всего этого хочется куда-нибудь сбежать: взять кредит в банке и купить путевку в Крым. Впрочем, нет, ведь и нынешнее и последующее поколения советских людей будет жить, мечтая сбежать в Крым – хоть глазком посмотреть на экс-прокурора Поклонскую и приобщиться к Священной Корсуни. Так что и здесь ничего нового и заманчивого.

Ностальгия по ненаступившему будущему, которое еще в начале 1970-х обещало вот-вот наступить, действительно превратилось в массовую черную меланхолию. В значительной части земного шара «модернизация» провалилась, «современность» не наступила, «догнать и перегнать» не вышло. Традиция оказалась сильнее новаторства и равнодушно поглотила затеи реформаторов. «Современность», то есть то, что на Востоке и в Советском Союзе видели как достижимую в ближайшем будущем цель, так и осталась обычным, чуть ли не естественным состоянием условного «Запада», и все. Да и там уже неприятно погромыхивает. Кое у кого меланхолия сменяется

окончательным унынием; кажется, что проиграна не битва, а вся кампания. Тем, кто видит правильное общество как исключительно устроенное на идеалах разума, просвещения и равноправия, остается разве что уйти в подполье.

На самом деле все не так. Фотографии обманывают ретроспективный взгляд – они были сделаны в определенный исторический период и с определенными целями; и то и другое ничего общего с сегодняшнем днем не имеет. То, что нынешний западный блогер принимает за «правило», за «срез обычной жизни» 1960 – 1970-х на Ближнем и Среднем Востоке, – светскую одежду иранских красавиц времен, когда аятолла Хомейни еще сидел в изгнании в Париже, модернистскую архитектуру какого-нибудь кабульского вуза или изучающего Маркса серьезного египетского студента, – все это было только «исключением». Изданиям типа *Life, Newsweek* или *Time*, где подобные фоторепортажи публиковались, нужно было представить те страны как поздновато опомнившиеся от сна, но теоретически еще способные догнать «Запад»; надо только покончить с вековым угнетением, прежде всего колониальным. Читателю этих изданий как бы предлагали эмоционально поучаствовать, поболеть за бегуна с гандикапом – он все равно не придет первым, мы же знаем, так что опасности нет. Остальные 99 процентов тогдашней иранской, или египетской, или афганской жизни больше интересовали этнографов, антропологов и религиоведов, нежели журналистов – и даже политиков. Сознательное заблуждение; теперь, когда оно развеялось, никто уже не помнит, что оно вообще было. Старую картинку приняли за реальность – дело обычное для нынешней культуры, которая только на картинку и полагается.

Ностальгия по позднесоветской «современности» работает таким же образом. Она решительно отличается от другой советской ностальгии – по традиционной советской задушевности и – одновременно – крепкой руке усатого диктатора. Второй тип ностальгии свойственен скорее нерефлексирующей части населения, которая привыкла жить непосредственными реакциями на происходящее с ними и короткими эмоциями. Приехал грубый коллектор и отобрал последнее? Виноват не ты, набравший бессмысленных кредитов, виновата нынешняя жизнь, а вот в СССР такого не было и все друг друга бескорыстно любили. Ностальгия по советской «современности» тоньше, конечно, и более распространена среди интеллигентов. Это тоска по стране, в которой строили много бесплатного жилья, где ученых, предусмотрительно высаженных на парниковые грядки Академгородков, лелеяли, по стране, что бороздила космос и

расшифровывала древние надписи на далеких островах. Безусловно, если взглянуть на то, что и для кого строят в нынешней России, на социальный (и финансовый) статус условного доктора наук или почитать поучительную историю проделок на космодроме «Восточный», то как тут не впасть в самую черную меланхолию.

Однако следует четко понимать: все эти прекрасные вещи в позднем СССР были нужны именно как инструменты, как средство, а не самостоятельная цель. В какой-то момент стало ясно, что академик в институте и на приличной зарплате работает лучше, чем в шарашке. Что лояльность большей части населения лучше купить материальными благами, чем держать людей в постоянном страхе и нищете. Что в космос лететь надо – для того, чтобы показать заклятым врагам, насколько мы лучше; да и вообще технологии пригодятся для ракет стратегического назначения. Но по сути, позднесоветское общество было столь же «современным», как и иранское общество условного 1978 года. С другой стороны, оно не было и «архаичным» или традиционалистским, как бы того ни хотели Василий Белов и прочие «деревенщики». Это общество было просто типологически «другим» – и именно поэтому, когда стало вроде бы возможным безболезненно встать в ряд с «современностью», «догнать», влиться, наконец в мощный поток «западного пути развития», ничего такого не произошло. На самом деле почти никому это не было нужно. «Перенять достижения» – это да, но вот стать тем местом, где эти «достижения» штампуются конвейерным способом, – упаси боже.

Как и в случае Ирана или Египта, перед нами совсем иной способ жизни и способ думания; его в силу разных причин принимали за вполне знакомый. Задача теперь одна – понять, что же это такое **на самом деле**. И перестать ностальгически перебирать выцветшие фотографии.

Печальная рутина полуправды

В августе 1946 года было опубликовано небольшое эссе, которое открывалось следующим пассажем: «Патриотические обольщения не знают пределов. Еще в первом веке нашей эры подвергались насмешкам Плутарха те, кто уверял, что луна над Афинами лучше луны коринфской; в XVII веке Мильтон замечал, что Бог, как правило, в первую очередь является Своим добрым англичанам; Фихте в начале XIX века утверждал, что обладать сильным характером и быть немцем, несомненно, одно и то же. Итак, патриотов становится все больше; по их собственному признанию, ими движет – достойное внимания или наивное – желание способствовать развитию лучших черт аргентинского характера». Хорхе Луис Борхес, автор эссе «Наш бедный индивидуализм», в то время был только что уволен из библиотеки Мигель Кейн, расположенной в дальнем пригороде Буэнос-Айреса. Точнее, официально он был переведен в распоряжение другого государственного департамента – департамента птицеводства, где, как уверяет сам Борхес в (на самом деле составленной совсем другим человеком) «Автобиографии», ему предложили должность инспектора по надзору за качеством кур и кроликов, продаваемых на столичных рынках. Естественно, сорокасемилетний писатель не согласился с подобным унижением и подал в отставку. Борхес не мог найти работу несколько месяцев, и только внезапно открывшаяся уже почти слепому литератору карьера публичного лектора спасла его от непристойной бедности.

Я углубляюсь в эту историю, чтобы на ее примере показать, как работают механизмы популистских авторитарных режимов, как такие режимы стараются заглушить голоса тех, кто еще пытается взывать к здравому смыслу. Механизмы эти не так уж просты – да и истории его жертв не столь очевидны, как кажется на первый взгляд.

В феврале 1946 года в Аргентине прошли президентские выборы, на которых с большим отрывом победил полковник Хуан Доминго Перон. Так началась вторая – уже официальная и законная – стадия перонистской диктатуры в стране. Эта стадия тянулась до 1955 года (два президентских срока), пока в результате восстания Перон не был изгнан, впрочем, только для того, чтобы вернуться на пару лет к власти уже в 1973-м. Перон был типичным – и одновременно нетипичным – авторитарным правителем прошлого века. Типичным, так как опирался на массовую поддержку социальных низов и отчасти среднего

класса, привлеченных искусной риторикой, угрюмой ксенофобией (с упором на особую зловредность некоторых наций, в частности евреев и представителей «англосаксонского мира») и обещаниями социальной справедливости. Особое место в практике таких режимов играет использование методов массмедиа и недоверие (если не презрение вовсе) к людям интеллектуальных профессий. Вышеописанная смесь за последние 70 лет претерпела мало изменений, достаточно посмотреть на нового президента США. Дональд Трамп разве что о зловещем заговоре «англосаксонской финансовой элиты» не говорит, ибо сам к ней принадлежит. Впрочем, о том, что «финансисты» и их клиентесса Хиллари Клинтон намерены одурачить «простого американца», Трамп высказывался.

Нетипичным для последних полутора веков диктатором Перон был потому, что не только болтал о социально-экономических проблемах, но и делал – и делал решительно. В его правление Аргентина изменилась; пользуясь поддержкой военных, профсоюзов и немалой части населения, Перон провел реформы, которые можно назвать «социалистическими», и действительно много преуспел в сокращении имущественной пропасти между богатыми и бедными. Именно поэтому даже провал его второго президентского срока, свержение в 1955-м, бегство и изгнание лишь слегка ослабили симпатии к Перону в последующие десятилетия. Он смог вернуться в страну почти 20 лет спустя, а после его смерти «перонистская партия» никуда не исчезла и, наоборот, является сегодня очень влиятельной. Не забудем также Эву Перон, знаменитую Эвиту, бывшую певицу, супругу президента, поп-икону «высокого перонизма», а затем – уже после ранней смерти – объект массового почитания и даже культа.

Военные, пришедшие к власти в результате переворота 1943 года, и находившийся среди них Перон были националистами, по большей части бытовыми антисемитами, поборниками «традиционных ценностей» (однако с католической церковью не ладили), они считали образование подозрительным, науку – опасной, интеллектуалов – потенциальными врагами. К тому же во время Второй мировой они испытывали молчаливую симпатию к Гитлеру и Муссолини, а не к антифашистской коалиции. Все это вкупе с их социально-экономическими взглядами не могло не вызвать ответной реакции, как у высших слоев аргентинского общества, теснейшим образов связанных с Британией и США, так и у большинства писателей и ученых. Первые называли избирателей Перона «зоологическим половодьем», а после смерти Эвиты от рака украшали стены домов лозунгом «Да здравствует

рак!». Вторые подписывали коллективные письма протеста, уходили в отставку, сочиняли оппозиционные статьи. Впрочем, перонисты также не брезговали граффити, вроде «Укрепи Родину, убей студента!», а сам правитель высказался так: «Обувь? Да! Книги? Нет!» Как мы видим, нынешний всплеск антиинтеллектуализма в России, Европе и Северной Америке не нов.

Оттого – при всех несомненных успехах на ниве социальной справедливости и даже модернизации аргентинского общества, элитистского, с жестким сословным разделением, латифундистского – значительная часть культурной среды Перона ненавидела, а перонистский режим воспринимала как тюрьму, вульгарную и жестокую. Хулио Кортасар сочиняет (но не публикует) роман «Экзамен», в котором Буэнос-Айрес задыхается от влажной жары, а на главной площади города происходит давка – толпа пытается попасть в новое святилище, мавзолей супруги правителя. Главные герои романа – студенты и вообще молодые люди, над которыми постоянно висит угроза ареста, заключения, исчезновения. Хорхе Луис Борхес романов не писал, да и вообще обличать современный ему политический режим в рассказах и стихах считал негожим. Так что ему оставались эссе и публичные выступления. С эссе, сочиненного сразу после победы Перона, мы уже начали этот текст, а вот цитата из речи Борхеса на торжественном обеде Аргентинского общества писателей в конце лета 1946-го: «Диктатура плодит угнетение, диктатура плодит сервильность, диктатура плодит жестокость; но самое отвратительное то, что диктатура плодит идиотизм. Приказы, достойные гостиничного носильщика, портреты вождей, заблаговременно подготовленные восторги или оскорбления, единодушные порывы толпы на публичных церемониях, военная дисциплина, вытесняющая ясное мышление… Борьба с этой печальной рутиной – одна из обязанностей писателя». Произнося словосочетание «заблаговременно подготовленные оскорбления», Борхес знал, о чем говорит. Он имел в виду историю с новой своей должностью на сельхозрынке, но не только.

8 августа 1946 года перонистская газета *Descamisada* (так называли низшие городские слои, наемных работников, составлявших социальную базу правящего режима) публикует анонимную статью о Борхесе в разделе «Слухи». Там он назван «аргентинским писателем, который перевел свои рассказы с английского и опубликовал их под своим именем». Выпад – сколь бы идиотским он ни выглядел – имел некоторые основания. Борхес – фактически билингв, он обожал английскую и американскую литературу, а та культурная среда, к которой

принадлежал писатель (сестры Виктория и Сильвина Окампо, Адольфо Биой Касарес и др.), была не только аристократической и антиперонистской, но и англоманской. Второй упрек анонима из *Descamisada* также формально не был голословным – Борхеса обвиняли в том, что он не особенно утруждал себя на библиотечной службе, будучи поглощен сочинительством и чтением книг. А так как библиотека, где служил писатель, муниципальная, то, получается, он тратил общественные деньги ради своего удовольствия. Как любая профессиональная пропагандистская ложь, это была не ложь, а полуправда. Особенных успехов библиотека Мигель Кейн не снискала и популярностью среди местных жителей не пользовалась. Но дело тут было вовсе не в Борхесе. Он-то как раз, поступив на службу в 1935-м, принялся за составление каталогов, но работа быстро закончилась за скудостью книжного фонда, а другой деятельности там не предвиделось. Коллеги Борхеса проводили время за картами, разговорами о футболе и непристойными сплетнями; ходили даже слухи, что в этом провинциальном Храме культуры как-то изнасиловали читательницу. Обстановка там была отвратительной; Борхес, вернувшись домой после первого рабочего дня, просто расплакался – что, будучи тридцатишестилетним сеньором, не должен был делать. Некоторое утешение он нашел лишь в, казалось бы, еще одном неприятном обстоятельстве. На службу нужно было больше часа тащиться на трамвае. Долгие поездки Борхес использовал для изучения двуязычного издания «Божественной комедии».

Наконец, третий пункт нападок *Descamisada* заключался в том, что писатель, мол, слишком оторвался от масс (то есть от собственно *descamisado*). Хуже того, Борхес позволяет себе нападки на выразителя чаяний масс, на самого́ Перона. Оттого (цитируем) «в качестве наказания мэр Буэнос-Айреса послал его на некоторое время инспектировать кур. Мэр сделал это, так как хотел вернуть Борхеса в те времена, когда тот сам был *descamisado*; пусть окажется там, где лучше понимаешь смысл нашей революции – чего он, кажется, так и не сделал».

В этой статье можно обнаружить почти все приемы, которые авторитарные и тоталитарные режимы, особенно популистского свойства, используют против недовольных интеллектуалов. Интеллектуалов обвиняют в интеллектуальной несамостоятельности (и даже в воровстве), вкупе с преклонением перед Заграницей. Они виноваты в том, что тратят народные деньги на свои ненужные и опасные прихоти. Наконец, они слишком вознеслись, чтобы понять чаяния простого народа. Оттого им надо указать на их истинное место. У Сталина и

Гитлера истинным местом для недовольных умников была камера смертника или лагерь, у режимов помягче – либо смехотворная, оскорбительная работа, либо унизительная бедность и голод. В подобной практике примечательно сочетание национализма, ксенофобии, показного народолюбия и в то же время «денежной», «экономической», даже «рыночной» риторики. Борхес плохой патриот. Борхес безродный космополит. Борхес, возможно, жулик. Борхес заперся в башню из слоновой кости. На Борхеса непонятно зачем уходят народные деньги. Соответственно, следует навести порядок, дисциплину и экономическую целесообразность. Ну и наказать Борхеса для вразумления прочих – несильно. Пошутим над ним – пусть этот слепой чудак будет у нас присматривать за курами. Курам на смех. Ха-ха. Ну а не захочет, что же, мы тут ни при чем. У нас ест только тот, кто работает.

От Жданова до Мединского, от Мао до любого нынешнего европейского националиста у власти – все они рассуждают именно так. Разница в деталях. И здесь, конечно, мы ощущаем несомненный прогресс. Умников – к тому же знающих иностранные языки – не убивают и даже (почти) не сажают. Им отказывают в возможности играть свойственную им социальную роль, не более того. Неприятного режиссера не нужно совсем калечить – достаточно не дать денег на очередной проект, ибо денежки-то народные, а он антинародный. Неприятного писателя можно просто не публиковать в одном из двух-трех крупных (и находящихся под негласным госконтролем) издательств – пусть некрупные его печатают за бесплатно. Посмотрим, как он заговорит, когда не на что будет купить бутылочку любимого дешевого виски «Белая лошадь». Может быть, тогда, в своем новом социальном качестве, за бутылкой традиционной для наших мест водки он попытается понять смысл происходящей на его подслеповатых глазах народной патриотической консервативной революции, а поняв, – отчего бы и нет? – начнет писать как надо? Ну а если не прозреет, то пусть поголодает либо отправляется в свою любимую заграницу.

Эта смесь наглости, подлости и цинизма, как рак, разъедает изнутри общественный организм, о каком бы обществе ни шла речь. Больным оказывается социум, который привыкает, что толпа всегда права – и уж тем более прав тот, кто говорит от имени толпы. Разрушенной оказывается политическая система, ибо, в течение долгих лет прикидываясь «народной», «демократической» и т. д., она вынуждена все больше верить в собственную болтовню, принимая ее уже за чистую монету – ведь что, кроме этой болтовни, даст такой власти возможность оставаться властью? Популистская риторика из инструмента – мол, давайте

обманем простаков, это нужно для того, чтобы провести непопулярные реформы, для дела же! – превращается в способ существования и в собственную цель.

Увы, среди пораженных этим раком оказываются и жертвы, те, кто нашел мужество противостоять диктатору, кто, согласно Борхесу, «боролся с печальной рутиной» авторитаризма. На чистую ложь ответить чистой правдой легко. На полуправду – гораздо тяжелее, приходится хитрить и придумывать красивые ловкие ходы. В результате факты оказываются как бы в дымке, теряют очертания, становятся частью общего батального полотна. А иногда перестают быть фактами как таковыми. Вернемся к истории о том, как Хорхе Луису Борхесу предложили стать инспектором по надзору за качеством кур и кроликов на рынке. Версия писателя такова: «В 1946 году к власти пришел президент, чье имя я не хочу называть. Вскоре после этого меня почтили уведомлением, что я получил “повышение” – меня переводят из библиотеки на должность инспектора по торговле птицей и кроликами на городских рынках. Я отправился в мэрию выяснить, что это означает. “Послушайте, – сказал я, – довольно странно, что среди многих сотрудников библиотеки именно меня сочли достойным этой новой должности”. “Что ж, – ответил чиновник, – вы же были сторонником союзников, чего ж вы ожидали?”» История замечательная и, казалось бы, совершенно типическая – см. все написанное здесь выше. Однако есть и другая версия этих событий, кажется более точная. Ее изложил Эдвин Уильямсон в вышедшей в 2004 году книге «Borges. A Life»[27]. Версия эта такова.

Летом 1946 года новоизбранному президенту Перону было не до высоколобого писателя, о существовании которого он к тому же не знал. Перон занимался массовой чисткой рядов госаппарата, образовательных и культурных учреждений – то есть тем, чем обычно занимаются диктаторы, либо придя к власти, либо обновляя и освежая собственный режим. За каждое отдельное направление кадровой перетряски отвечали особые люди и департаменты. Именно те из них, что отвечали «за культуру», и составили список нежелательных сотрудников государственных и муниципальных культурных органов. В этом списке из двух тысяч человек была и фамилия Борхеса. Однако Борхес – пусть Перон и не знал о его существовании – казался слишком известным именно в культурных, литературных кругах, чтобы его вот так запросто взять и вышвырнуть со службы. Оттого один из сотрудников Секретариата культуры города Буэнос-Айреса, поэт-католик Мигель Анхел Эчеберригарай, решил спасти Борхеса от увольнения, переведя его в ведомство другого

департамента. Иного пути не было, ибо человек, попавший в черные списки, не мог далее занимать свой пост. В конце концов писателя решили сделать инспектором Департамента бортничества (*Direccion de Apicultura*). Другой литератор-госчиновник, Рауль Салинас, даже пошутил, мол, какая сладкая должность будет у поэта. По мнению того же Салинаса, Борхес и его друзья исправили слово *apicultura* на слово *avicultura* (птицеводство) и распространили слух: писателя назначают инспектором по присмотру за курами, чтобы его унизить. По мнению Уильямсона, подобный вариант развития событий вполне похож на правду – и он говорит в пользу Борхеса, в пользу его умения заранее наносить удары по гораздо более мощному врагу. Иными словами, чтобы избежать публичного унижения и открытых преследований, Борхес изобразил дело так, что он уже стал объектом подобных унижений, к тому же зловеще-комических. И, будучи писателем, обладавшим тихим безупречным чувством юмора, Борхес не мог не добавить к «курицам» – «кроликов».

Легенда совершенно безобидная – и даже милая. Но смущает в ней как раз ее безобидность, то есть кажущаяся безобидность. Да, то, что перонисты (путинисты, трамписты, маоисты, нацисты и прочие нехорошие люди) врут, – это типично и это чудовищно. Но когда говорят неправду о перонистах (путинистах, трампистах, маоистах, нацистах и прочих нехороших людях), то это ничего – ибо неправда об этих людях все равно будет бледнее чудовищной правды о них. Это не так. Тем более для писателя, чья обязанность – противостоять печальной рутине красивого искажения скучных фактов ради снискания симпатий публики.

Царь настоящий

В России ставят сразу два памятника Ивану Грозному – такова была главная летняя новость 2016 года с исторического фронта РФ. Впрочем, новость особых споров и даже эмоций не вызвала – по крайней мере, так сейчас представляется. Почему? Думаю, полезно попытаться ответить на этот вопрос. Ну или хотя бы подумать над ответом.

Оставим в стороне самое простое объяснение – лето, отпуска, пляжи (или, наоборот, задыхающиеся от жары и удушья большие города), серьезные вещи оставлены на осень и все такое. Это верно, но ведь многое происходившее с июня по август предыдущие два с половиной десятка лет российской истории живо волновало людей, несмотря на время года и погоду. В августе 1991-го случился путч, а за год до того в июне была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, подорвавшая основы Советского Союза. В последующие годы – пусть и преимущественно в августе, но иногда и раньше – стряслись самые разные неприятности: дефолт, гибель «Курска», война с Грузией, война на Украине, сбитый «Боинг». Все это обсуждалось на самых повышенных тонах – в отличие от нынешней истории про Ивана Грозного. Я понимаю, конечно, что есть огромная разница между войнами, катастрофами человеческими и финансовыми – и какими-то там памятниками. Однако напомню, что правитель, которого теперь хотят увековечить сразу в двух населенных пунктах Российской Федерации, был непосредственно причастен к тяжелейшим войнам, актам изуверской жестокости, к разорению собственного царства, к последующим его бедам – да и, попросту говоря, был инициатором вышеперечисленного. И еще одна очень важная деталь – до нынешнего времени никаких памятников Ивану Грозному в России не было, в отличие от многих других монархов. Значит, дело тут необычное. А отклика все равно почти нет.

Конечно, от глупости – и, довольно часто, от намеренной мерзости – инициатив самых разных властей нынешней России все довольно сильно устали, по крайней мере те, кто дает себе неприятный труд за этими инициативами следить. Каждый раз, когда Государственная дума принимает закон, противоречащий общественному интересу, здравому смыслу и представлениям о человечности вообще, возмущенный хор негодует, на депутатов сыпятся самые разные обвинения, которые те совершенно не принимают в расчет. Ну то есть они их как бы просто не

замечают. Нет такой вещи, как «общественное мнение», есть необходимость делать то, что приказали, – или то, что могут приказать, оттого желания приказывающего хорошо бы предугадать заранее и исполнить даже до появления соответствующих намеков. Забавно, что приказывающие (условно назовем их «Кремль») довольно часто и не помышляют о некоторых из нелепых гадостей, которые Государственная дума штампует, но потом – когда дело сделано и соответствующий закон принят – оказывается поздно. Так что остается только оправдывать суетливых депутатов, по-отечески журить их за поспешность, корректировать то, что можно скорректировать. А остальное… остальное просто оставить в неупотребительном покое до лучших – или худших – времен. Ведь любой бессмысленный закон может пригодиться когда-нибудь, когда захочется посадить уж особенно неуловимого оппонента, запретить нечто уж совсем отдаленно опасное – или вообще продемонстрировать, кто в стране хозяин.

Дело тут, конечно, не только в особенно зловредной Госдуме. Она – и в этом следует честно признаться – почти идеально отражает умонастроения, способности и интеллектуальный уровень правящего класса страны. Не то чтобы туда навербовали каких-то отъявленных мерзавцев, отнюдь, милые люди, обычные, даже типичные для нынешних времен. Достаточно посмотреть на органы исполнительной и судебной власти, на законодательные собрания иных уровней – все примерно то же самое. Так что это действительно «народная власть» – если под «народом» понимать именно ту часть российского общества, которая не без удобства устроилась на ключевых экономических, политических, социальных – и даже культурных – позициях, получая ренту от самого факта нахождения там. Любая критика, которая исходит извне, для них формально не существует (за редким исключением), локаторы настроены исключительно в одну сторону – сторону источника распределения искомых мест.

Оттого любые возмущения по поводу того, что «творит эта власть», чаще всего ограничены кругом самих возмущающихся. Иногда их приглашают сыграть наивного (а то и опасного) дурачка на телевизионное ток-шоу, но не более: в конце концов, режиссура и исход этих шоу уже заранее предопределены. Так что недовольным остается негодовать перед своими же – что, кстати говоря, тоже неплохо. Ведь для своих можно говорить на своем междусобойном языке и многого не проговаривать: все же и так давно понятно, достаточно подмигнуть. Так несколько лет назад возникло сетевое выражение «цепья гребаной цепи». Что бы там власть ни сделала, все комментировалось именно таким образом,

давая возможность экономить силы и время, в обычном мире необходимые для аргументации, доводов, объяснений и т. д. И уж тем более все это позволяет экономить на самом деле нешуточные ресурсы, потребные для формулирования некоего «общего языка», с помощью которого можно было бы попытаться вести дискуссию с противоположной стороной, вовлекая в нее большинство общества, которое сегодня ни в чем подобном вообще не участвует. Создать такой язык дьявольски сложно, в прошлом столетии подобное получалось, быть может, один или два раза. По крайней мере один раз точно – и это сделали большевики.

В результате российское общество представляет собой комбинацию из трех больших групп и множества маленьких, которые на самом деле очень слабо между собой пересекаются. Это – (а) правящий класс, (б) класс «недовольных», по разным причинам противостоящий правящему классу («образованные», «интеллигенция» и т. д.), (в) большинство, лояльное правящему классу, но на самом деле отчужденное от него и по своим реальным интересам, враждебное, (г) многочисленные меньшие группы, имеющие собственные (отрефлексированные ими) интересы, что определяет их весьма прагматичное отношение к группам (а), (б), (в) (к примеру, некоторые компактно живущие этнические и религиозные сообщества и проч.). Все они имеют свой собственный язык и свой собственный интерес, все они не особенно заинтересованы в том, чтобы покинуть собственные пределы и начать некий общий, общественный разговор о самых важных вещах. В этом тексте речь идет совсем об ином, но не могу не заметить, что упомянутое обстоятельство является самым опасным для дальнейшего существования РФ как единого государства – ибо у РФ на самом деле нет ни «национального интереса», ни тех понятий, в которых этот интерес мог бы быть выраженным – и понятым большей частью общества. Пропаганда может на короткий период предложить такие слова, но расхождение между жизнью людей и этими словами довольно быстро лишит последние эффективности, превратив в дурно пахнущую лексическую свалку. Такое происходило уже в истории СССР, в конце 1970-х – начале 1980-х. Не стоит об этом забывать.

Но вернемся к Ивану Грозному и вялому возмущению по поводу его внезапной глорификации. Эта вялость есть чисто психологический результат замкнутости той группы, в которой подобное возмущение возможно, более того, необходимо. Тут есть одно сильное противоречие. С одной стороны, реакция на любые действия необходима для сплачивания «недовольных», противостоящих «правящему режиму». С другой, – учитывая, что

реакции эти однотипные, внутренние и предсказуемые, – с какого-то момента каждая последующая реакция слабее предыдущей. Тут есть еще один – уже социопсихологический – момент. До определенного момента «недовольным» казалось, что их оппоненты хотя бы отчасти разделяют их собственные ценности. Не полностью, конечно, упаси боже, нет, но отчасти. Оттого определенные гадости власть делать может, но на что-то «они» руку не поднимут. Именно из этого и исходила сама идея политической и этической критики власти – что власть «услышит» и, быть может, «одумается». Но однажды произошло нечто непоправимое и власть сделала то, чего от нее не ожидали – ни по соображениям политическим, ни по соображениям чисто человеческим. Можно спорить, где располагается эта «точка невозврата»; мне представляется, что ею стал так называемый «закон Димы Яковлева», или, как его принято называть в описываемой мной группе, «закон подлецов». Да, до того у разных коммунистов, членов СР и единороссов водились грехи, и немалые (депутаты от ЛДПР не в счет, их за «этические существа» никто никогда не принимал. Прежде всего, они сами себя таковыми не считали), но все-таки предполагалось, что уж намеренного вреда самым беззащитным, самым политически нейтральным гражданам страны, детям-сиротам, они сознательно не причинят. И не будут доводить некоторых из них до мучительной смерти. Оказалось, что нет, могут. С этого момента ничего хорошего ждать от депутатов стало невозможно, да и не нужно. Ситуация определилась. «Мы» – общество, «они» – преступники. «Мы» способны к моральному суждению, «они» находятся вне пределов моральных суждений вообще.

Отсюда и упомянутый психологический эффект, который можно было бы назвать «принципом обратной пропорции» между количеством мерзостей власти и накалом ее осуждения. Чем больше мерзостей, тем слабее накал. Надо сказать, что ситуация эта, опять-таки, опасна. Дело даже не в том, что разрушается возможность коммуникации внутри общества как такового, и даже не в том, что в обществе становится невозможным этическое суждение по поводу политики. Тут есть и другая сторона, чисто практическая, касающаяся существования и будущего двух самых политически активных групп населения страны. Власть часто делает самые нелепые свои шаги именно ради эффекта. Правящий класс пытается демонстрировать, что он все равно будет поступать так, как ему вздумается, несмотря на все вопли негодования. Это очень мощный инструмент воздействия на общество, прежде всего психологический. Казнить, несмотря на мольбы о милосердии. Тратить последнее на ерунду, несмотря на

увещевания специалистов и апелляции к здравому смыслу. Врать, несмотря на то что все знают, что ты врешь. Собственно, так и поступал московский царь, которому ставят памятники в двух населенных пунктах России.

Действительно, намеренно поступать не так, как, казалось бы, надо и как, казалось бы, хочет население, – значит показать, что власть твоя не зависит от рациональных соображений, что она иррациональна, что она выше рациональности, что она была, есть и будет таковой. Только такую власть по-настоящему боятся. И в этом ее сила. В то же время здесь таится и главная опасность, даже коренное противоречие. Подобная власть обязана безжалостно уничтожать любые иные мнения, она стоит на том, что действия ее (как и ее природа) не обсуждаются. Но она, как вампир, питается страхом, а страх в данной ситуации, как мы уже отмечали, есть результат бессилия, которое рождается из бессмысленного возмущения. Иными словами, такая власть одновременно должна возмущение вызывать – и возмущение уничтожать. В каком-то смысле она всегда балансирует на грани самоубийства.

А возмущение как раз и стихает, ибо невозможно все время говорить одно и то же по поводу одного и того же. Вампир лишается главного источника своего вампиризма – кровь негодования в общественном организме иссякает. Тогда власть ищет все больше и больше способов это возмущение вызвать, ведет себя все более и более экстравагантно, невероятно, по-идиотски, уже окончательно ставя под удар саму себя. На какое-то время это работает, возмущение воскресает, но даже самые невероятные и изощренные пытки не могут длиться вечно – жертва просто умирает на эшафоте. Вот этого так и не смог понять Иван Грозный, который любил поразвлечь публику все более изуверскими мучениями своих – чаще всего случайных – жертв или своими все более безумными затеями госустройства. Но все кончилось совсем не так. Публике стало безразлично, ибо можно посадить почтенного боярина на кол или поджарить его на решетке в присутствии детей, жены, челяди и проч. (после чего расправиться и с ними), но делать это в режиме конвейера не рекомендуется. Можно устраивать потешное государство внутри своего собственного государства, брать штурмом и разорять свои собственные города, можно даже сажать каких-то клоунов на собственный престол – ради смеха, смешанного с ужасом. В фильме Эйзенштейна на подобное посмотреть можно – да и то не особенно интересно, – но превратить этот фильм в бесконечный сериал, на манер «Санта-Барбары», довольно опрометчиво. В результате публика (подданные Московского царства) стала

настолько безразлична к любым причудливостям власти, что спустя пару десятков лет после смерти зловещего затейника без особого интереса смотрела на кукольный театр с участием и бывших деятелей опричнины, и выживших потенциальных жертв опричников, и каких-то воскресших наследников престола – один раз воскресших, во второй раз и в третий. Даже польский гарнизон в Москве не воспринимался как что-то уж особенное, мало ли что в свое время грозный царь вытворял, еще одна шуточка в его стиле. Вместо царя Симеона Бекбулатовича – царь Владислав, *nothing special*. Царь Иван Васильевич вознес свою власть на невиданную до того высоту, низвергнув ее одновременно в самые глубины бессмысленности и жестокости; результатом его многолетнего карнавала стала Смута, еще одна катастрофа всей страны и самой власти – гораздо более страшная, чем его страшное правление.

Вряд ли местные власти в Орле и Александрове, решившие поставить памятники царю Ивану Грозному, собирались увековечивать память вышеописанному настоящему царю Ивану Грозному. Конечно нет. Они хотели совсем другого – поставить памятник условному правителю, который:

1. Расширил государство.
2. Наказал изменников.
3. Провел реформы, укрепляющие власть.
4. Воевал с Западом (особенно приятно, что воевал с поляками, конечно).

Это первый уровень орловско-александровской интенции. Он как бы «исторический» и предполагает, что некоей «русофобской», «иностранной», «либеральной» позиции в отношении Ивана Грозного «мы» (патриоты, государственники и проч.) противопоставим свою. И она якобы подкреплена несокрушимыми историческими фактами, вроде тех, что любит приводить выдающийся историк современности Владимир Мединский. А Мединский всегда прав, ибо он – настоящий патриот и государственник.

Второй уровень, уже не «исторический», а политический и даже культурно-психологический. На самом деле в сознании этих людей Иван Грозный является персонажем не давней, а относительно близкой истории. Иван Грозный – (пока) более безопасный заменитель Иосифа Сталина, тем паче что образ царя более всего известен благодаря снятому для Сталина жалкому эйзенштейновскому фарсу. Поставить памятник Сталину – (пока еще) сложновато. Зато можно поставить памятник любимому царю Сталина. И тем самым продемонстрировать, что мы – власть, неважно, какого уровня, – на самом деле думаем.

Наконец, есть еще один Иван Грозный, уже совсем близкий нам, милый и ручной, из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Он любит хриплого советского Высоцкого, пьет водку, закусывая советской килькой, и даже любезничает с советскими актрисками. Очкастый советский интеллигент перенес его из Московского царства в СССР, чуть не наделав бед, но все обошлось – да и в СССР царю понравилось. Так что Иван Грозный – он советский, из брежневского времени, а, значит он наш. Тут, конечно, выходит она неприятная нестыковочка, которую не заметила власть. Дело в том, что в любимом фильме единственным носителем государственнического сознания, единственным патриотом является квартирный вор Жорж Милославский. Это многое объясняет в сегодняшнем официальном патриотизме.

Под конец все-таки вернемся к тем, кто устал возмущаться проделками нынешней российской власти, к «недовольным», к «либералам» (термин отвратительный, ибо неверный), к «интеллигенции». Против психологической усталости не пойдешь – невозможно все время сидеть на наркотике негодования. Вино праведного общественного гнева давно превратилась в кислый уксус шуточек в сетях. С другой стороны, не обращать внимания на – действительно отвратительные – вещи невозможно; это подрывает саму основу существования «недовольных» как активной социальной группы – ведь она же и является таковой, ибо объединяет «специалистов по словам», «специалистов по отрефлексированным эмоциям», тех, кто свойственным ей языком призваны объяснять третьей группе – большинству – смысл того, что вытворяет первая, власть.

Из этого следует два вывода. Первый, банальный. «Недовольные» и «власть» не могут существовать друг без друга. Оттого… нет-нет, это не значит, что именно оттого им следует беречь своих визави… отнюдь… они просто обречены существовать, исключительно имея в виду другого, в качестве адресата и горизонта собственных действий. Что бы сегодня власть публично, декларативно ни делала, она – несмотря на видимое безразличие – делает, имея в виду «недовольных». Что бы «недовольные» ни делали, они делают, имея в виду власть. Что касается второго вывода, то он немного фантастический, но я все-таки предложу его на суд читателя. Выход из этого надоевшего жестокого и бессмысленного союза таков – обратить внимание на остальных, живущих в этой стране. В противном случае они сами обратят на себя внимание – и тогда уже никто, кроме настоящих, немединских историков, не вспомнит о царе Иване Васильевиче.

Что касается памятника, то почему бы его не поставить. Пусть

даже любой из тех, что изготовили сейчас для Орла и Александрова. Но на пьедестале хорошо бы сделать барельеф, изображающий момент, когда Малюта Скуратов убивает в монастырской келье бывшего митрополита Филиппа Колычева. И выбить внизу следующие слова Филиппа, публично сказанные им царю за год до смерти: «В сем виде, в сем одеянии странном не узнаю Царя Православного; не узнаю и в делах Царства… О Государь! Мы здесь приносим жертвы Богу, а за олтарем льется невинная кровь Христианская. Отколе солнце сияет на небе, не видано, не слыхано, чтобы Цари благочестивые возмущали собственную Державу столь ужасно! В самых неверных, языческих Царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям – а в России нет их! Достояние и жизнь граждан не имеют защиты. Везде грабежи, везде убийства и совершаются именем Царским! Ты высок на троне; но есть Всевышний, Судия наш и твой. Как предстанешь на суд Его? обагренный кровию невинных, оглушаемый воплем их муки? ибо самые камни под ногами твоими вопиют о мести!..» Если уж православие считается традиционной религией светского государства под названием Российская Федерация, то пусть и памятник будет православный.

Без ауры

Чацкий: Нет! Недоволен я Москвой.
Хлёстова: Москва, вишь, виновата.
Фамусов: Подальше от него.

Александр Грибоедов. «Горе от ума»

Есть… вопросы, которые поднимай, про которые толкуй и спорь хоть двадцать лет, а ни до какого разрешения не дойдешь. Встречаются умы, которые любят охотиться за подобными вопросами, благо есть время, есть свора резвых и прытких собак: почему же не пуститься, в веселой компании, в бесконечное отъезжее поле? Есть ли там зверь, будет ли пожива, о том наши бескорыстные охотники не заботятся.

Петр Вяземский

В 2014 году я боролся с искушением напомнить русской публике о столетнем юбилее одной очень скромной, но исключительно интересной книжки, однако в конце концов пришел к выводу, что лучше этого не делать – и без того прошлое поминают сегодня, либо преследуя чисто прагматические цели, либо в связи с юбилейными датами, на предмет поставить медийную или бюрократическую галочку. Ни первой, ни второй задачи у меня нет, так что, намеренно пропустив столетие книги, я решил именно сейчас сделать ее отправной точкой для рассуждения на историко-культурную и историко-социальную тему.

В 1914 году, когда старый мир начинал рушиться, в Москве, в издательстве Сабашниковых вышла книга Михаила Осиповича Гершензона «Грибоедовская Москва». Жанр книги, как определил

его сам автор, – «опыт исторической иллюстрации к “Горе от ума”». Думаю, Гершензону было исключительно приятно ее сочинять – он любил Москву. Напомню, Михаил Гершензон, будучи уроженцем Кишинева, в юности чудом поступил в Московский университет, да так и прожил в этом городе до самой смерти. В распоряжении Гершензона, когда он сочинял «Грибоедовскую Москву», был огромный материал, и не только чисто архивный. О духе «фамусовской Москвы» много писал Петр Андреевич Вяземский, на самом деле не одобрявший грибоедовского «шельмования» приличных московских фамилий. Для князя Петра Андреевича Москва была безусловно милым, теплым и сердечным местом, гораздо лучше холодного, чопорного, чиновного Петербурга; мнение тогда распространенное в определенных кругах, вспомним хотя бы Пушкина. Чацкому Москва не нравится, потому что он истерик, не связанный со здешней социальной и культурной почвой, он, уж извините, лишний человек, а в этом городе лишних не бывало, всех приголубливали, всех укутывали в медвежьи шубы знаменитого гостеприимства. Чацкий – интеллигент, точнее – протоинтеллигент, а в Москве интеллигентов тогда не водилось. Вот и в книге о грибоедовской Москве нет ни одного интеллигента. Гершензон в ней подробно излагает труды и дни знаменитой в александровское и николаевское царствование московской барыни Марии Ивановны Римской-Корсаковой. Такова Москва, которой недоволен Чацкий.

Самое любопытное, что через несколько лет после несчастного визита в Москву нашего умного горемыки там действительно стала зарождаться интеллигенция. В среду молодых выпускников Московского университета, не имеющих определенного рода занятий, добавили бродильный элемент. Элемент этот – Чаадаев. Публикация его знаменитого «Философического письма» в московском журнале «Телескоп» вызвала не только унизительное для русской власти преследование автора и издателя. «Философическое письмо» произвело знаменитый раскол во мнениях по поводу прошлого, настоящего и будущего России, раскол, в карикатурном виде существующий до сегодняшнего дня. В Москве – именно здесь, а не в Петербурге или Самаре – появились «западники» и «славянофилы». Содержание их споров известно, отметим только, что подобного рода дискуссии могут вести лишь те, кто принадлежит к социальной группе под названием «интеллигенция». До Чаадаева (который не был интеллигентом, конечно) в России встречались интеллигенты, но не существовало интеллигенции. Со Станкевича, Хомякова, Самарина,

Грановского, Герцена и других в России рождается интеллигенция именно как социальная группа. И эта интеллигенция московская. Другой тогда не было. В иных местах она появилась позже – уже после смерти Николая I.

«Грибоедовская Москва» сочинена с точки зрения истинного московского интеллигента. Перед нами описание одной социальной группы представителем другой, совершенно ей чуждой. Описание невероятно трогательное, любовное, ностальгическое. Казалось бы, зачем Гершензону, замечательному писателю, еврею, который сам сделал себя в исключительно враждебных – к таким, как он, – обстоятельствах Российской империи, все эти хлопотливые, хлебосольные рабовладельцы баснословных времен, жирный мир чепчиков, аксельбантов и фраков? Ответ прост. Грибоедовская (а точнее – фамусовская) Москва столь любезна Гершензону из-за ее чуждости, если угодно «другости» – но только для него эта «другость» все равно «своя». Это то, что Вальтер Беньямин называл «аурой», описывая ее как скольжение взгляда во время приятного летнего отдыха по линии гор, возвышающихся на горизонте. Тут важна граница – горы далеко, но они как бы «здесь». Знай Гершензон английский в совершенстве, даже поселись на несколько лет в Британии, книги о диккенсовском Лондоне он писать бы не стал. Отметим это очень важное качество московского интеллигента – любить чужое, которое окончательно все-таки не является таковым, иметь эмоциональное и интеллектуальное отношение к вещам пусть далеким, но находящимся внутри определенных границ, границ жестко социально ограниченной ауры. Эти вещи можно апроприировать, включить в свой обиход. Других как бы не существует. Отсюда первая черта московской интеллигенции, чуть ли не определяющая, – ее знаменитая «уютность». Жизнь московской интеллигенции при любых ужасных внешних обстоятельствах уютна – по крайней мере, так было до недавнего времени. Уютность эта исходила из твердой убежденности в том, что ментально и эмоционально этот мир принадлежит «нам». А все, что нам не принадлежит, вряд ли существует – как мир за горами для беньяминовского отпускника на прогулке. Скажем, московские баре – да, они есть, а, например, нерчинские чиновники – нет. «Народ» в целом, безусловно, существует, а отдельный самарский купец или астраханский рыбак – невидимка. Та же история в отношении заграницы. Уют ведь начинается там, где ты уверен в каждой мелочи, в каждом жесте, относящемся к определенному месту, в котором ты тоже уверен. Вещи здесь привычные, неожиданности милые, а рутина становится добродушной и даже желанной, вроде прослушивания

«Радио Свобода» на ночных кухнях 1970-х или сегодня на дневных кухнях – «Эха Москвы». Ты заранее знаешь, что радио скажет тебе, – и оно, что самое удивительное, действительно именно это и говорит!

Михаил Гершензон, автор книги, которая символически определила место московской интеллигенции в отношении совершенно чужого ей класса, некогда обитавшего в столь знакомой Москве, был серьезным критиком этой интеллигенции. В каком-то смысле именно поэтому Гершензон смог сделать столь безошибочный социокультурный жест: он поставил под сомнение основания московской интеллигенции, рассказав о времени, когда в Москве даже духа ее не было. За пять лет до «Грибоедовской Москвы» именно Гершензон стал инициатором самого интеллигентского/антиинтеллигентского коллективного манифеста в русской истории – сборника «Вехи». Если остальные авторы сборника ругали интеллигентов и юных радикалов за примитивность мышления, неумение заниматься «нормальной» профессиональной деятельностью (то есть той, к которой этих людей готовили в университетах), даже обличали их скверную гигиену и жалкую сексуальную жизнь, то Гершензон говорил совсем другое. Семен Франк писал: «Гершензону миросозерцание и интересы русской радикальной интеллигенции представлялись слишком сложными, утонченными, отравленными ненужной роскошью культуры, и он призывал к “опрощению”».

Подобного рода опрощение есть признак истинного эстета. Русский интеллигент эстетом не был никогда; оттого и Константин Леонтьев не интеллигент, и Иван Бунин не интеллигент, и Михаил Кузмин не интеллигент. Интеллигент ли на самом деле Гершензон? Оставим этот вопрос для другого рассуждения.

В 1914 году интеллигенций в России было несколько – после московской появилась петербургская, а затем и провинциальная. У орла на имперском гербе красовались две головы, которые в нашем разговоре могут означать Москву и Петербург. Что же до провинциальной интеллигенции, то ее можно вообразить в виде туловища геральдической птички. Туловище неустанно работало, производя жизнь в стране: доктора лечили, учителя учили, инженеры строили, а две головы пытались производить смыслы всего этого. Смыслы были разные, но с течением времени они сближались. Если для дворянина Пушкина Петербург – «наша прихожая», Москва – «девичья», а поместье – «рабочий кабинет», то в начале прошлого века все перемешалось. Холодный чиновный Петербург вдруг признали «красивым» (благодаря Бенуа и прочим мирискусникам) и даже веселым (тут потрудился

Кузмин); Москва же благодаря усилиям новой буржуазии становилась современной, теряя свои деревенские черты. Разница оставалась, но перед нами – две разновидности одного и того же; это примерно как сравнить мировоззрение профессорского сына Александра Блока с мировоззрением профессорского сына Андрея Белого. Или символистский журнал «Весы» (Москва) с символистским журналом «Золотое руно» (Петербург).

Русская интеллигенция появилась в Москве потому, что за сто с лишним лет до того царем был Петр I. Он начал насильственное просвещение – и так возник слой работников этого просвещения. Он построил новую столицу, лишив Москву присутствия власти. За сто лет после Петра работники просвещения получили вольную и уже совсем необязательно числились госчиновниками. Интеллигент, пусть даже имеющий постоянную работу, ощущал себя вольным человеком, отдельным от государства. Во второй половине XIX века подобное ощущение было естественным только в одном городе русской части империи – в Москве. Поэтому здесь и только здесь возникла интеллигенция. Чаадаев не мог приехать из-за границы и поселиться в Петербурге. Салонные споры о том, хорош или плох Петр I, немыслимы в непосредственной близи от построенного Петром Адмиралтейства. Уменьшение роли государства и двора в жизни России, ее, как ни странно, дебюрократизация, деэтатизация сделали возможным перенос интеллигентского образа мысли и жизни за пределы Москвы. В этом еще одна причина несколько ностальгической интонации «Грибоедовской Москвы» – та эпоха к 1914 году закончилась дважды: в 1830 – 1840-х и в конце XIX века. Чего Гершензон не знал, так это того, что через четыре года все опять поменяется. И как поменяется!

В дореформенном Петербурге интеллигенции не было, потому что тогда там обитали и функционировали другие: двор, чиновники, военные, мещане. В 1918 году новая власть переехала в старую Москву, где уже довольно давно обитала и функционировала интеллигенция. Так начался следующий период истории русской интеллигенции, покончивший с конвергенцией ее местных разновидностей. С 1920-х годов в стране существуют как минимум три очень разные интеллигенции, но, в отличие от предыдущего периода, среди них есть одна самая главная – московская. Ее позиция обусловливается близостью к власти, с которой она вступает в очень близкие отношения. Этот крепкий союз в той или иной степени продлился до сегодняшнего дня – и на наших глазах он подходит к концу. Но сначала о долгом браке – о разводе потом.

Союз сложился естественно и продлился долго

исключительно по той самой причине, что создает крепкие семьи, которые зиждутся вовсе не на любви. Эта причина – насущная потребность друг в друге. Советской власти нужна была интеллигенция, а высшему, столичному эшелону этой власти нужна была московская интеллигенция. Прежде всего не забудем, что многие руководящие большевики – интеллигенты, пусть и не петербургско-московские. Интеллигентское сознание было им отчасти присуще, а некоторыми даже преодолено. Во-вторых, проводить тотальный модернизационный проект, который затеяли большевики, невозможно без интеллигентов, ведь речь идет о диковатой стране с минимальной грамотностью – но в то же время о стране с развитой, даже переразвитой культурной элитой. Уцелевшая в Гражданской войне и не эмигрировавшая часть интеллигенции принимается за работу: она просвещает, учит, строит, лечит, сочиняет книги, ставит спектакли, снимает кино – и, самое главное, готовит себе смену. Именно последнее поколение дореволюционной интеллигенции, промежуточное, поколение Маяковского, Пастернака, Бабеля, заключило союз с советской властью, а нерушимым этот союз сделало уже первое поколение новой советской московской интеллигенции. До революции, в пореформенный период, интеллигенция, за некоторым исключением, особых отношений с властью не имела. Перед нами история уже чисто советская. В 1930-х – начале 1950-х близость обернулась трагедией, но любой брак жесток, и за все надо платить.

Если первое поколение московской интеллигенции заключило контракт с властью в 1920-х на одних условиях – совместного строительства светлого будущего, – и этот контракт, пусть и содержавший низменные прагматические пункты, в основном отвечал возвышенным стремлениям обеих сторон, то уже в 1930-х все изменилось. В новой сословной империи Сталина только столичные бюрократия и интеллигенция получили разрешение на внутреннее воспроизводство и создание своего рода каст – при тотальной лояльности режиму, конечно. Сталин не коммунизм строил – он создавал систему идеальной власти, в которой интеллигенции, как производителю идеологических смыслов, было отдано особое место – оттого ей разрешили воспроизводить себя, порождая новых производителей тех же смыслов. Отбор был беспощадно строгим, вспомним хотя бы знаменитую кампанию конца 1940-х, в ходе которой уже второе поколение советской интеллигенции по распоряжению власти пожирало своих учителей, выросших в 1920 – 1930-х. Хронологически первые были детьми революции и участниками проекта большевистской модернизации, из хронологически

вторых формировали уже настоящую касту, на манер Древнего Китая. За лояльность отлично платили.

Самое интересное, конечно, случилось позже. Превратившись в эпоху позднего сталинизма в государственное сословие, московская интеллигенция несколько отделилась от власти, оставаясь тем не менее в близких отношениях с ней. И она стала осознавать свои собственные, сословные интересы, которые не всегда идеально совпадали с интересами власти, иногда даже противоречили им, но – и тут всегда соблюдался тончайший баланс – никогда не выходили за определенные пределы. Внутри этого пространства при желании можно было метаться между полюсами тотального лоялизма и серьезного несогласия; однако несогласие касалось деталей, пусть важных, но не самого́ установленного порядка вещей. Вся история так называемых шестидесятников описывается этой моделью – а это самая важная глава в истории московской интеллигенции. В отличие от Сталина – и отчасти от Хрущева – Брежнев и его политбюро нуждались не только в научно-технической интеллигенции, у власти уже в середине 1960-х возникла серьезная потребность в «специалистах по словам», которые должны были убедительно описать текущий исторический момент – время, когда про коммунизм следовало забыть, про Сталина по возможности не вспоминать (или делать это мельком, не акцентируя), иными словами, когда ни про будущее, ни про недавнее прошлое особенно распространяться не рекомендовалось. Оставалось настоящее и далекое прошлое – а для того чтобы найти слог и слова для их описания, требуются совсем иные навыки, нежели у пропагандистов сталинской закалки. Идеальным языком описания стала сконструированная преимущественно московской интеллигенцией позднесоветская культура – единственный действительно великий продукт брежневской эпохи. Фактически был создан огромный мир, в нем на чердаке можно было послушать Аверинцева, чуть пониже – почитать Трифонова, еще чуть ниже – посмотреть «Москва слезам не верит», «Гараж» и «Афоню», а уж на цокольном этаже и вовсе не протолкнуться от всевозможных кобзонов и хазановых. Эта вселенная, составленная из чувств и простейших реакций позднесоветского интеллигента, параллельная официозной идеологии, оказалась идеальной подпоркой власти. Более того, когда власть рухнула, подпорка не только осталась – она оказалась точкой сборки постсоветского человека, единственным реальным объектом его патентованной «ностальгии», орудием формирования псевдоидеологии нынешнего российского режима.

Об этом написано очень много, в частности и в этой книге, я

перечисляю здесь очевидные вещи, банальности – но кто-то же должен выстроить их в ряд. Московская интеллигенция действительно определила позднесоветский мир: она была главным идейным разработчиком осторожных брежневских идеологем (вроде «Курса на совершенствование развитого социализма») – и она же породила наиболее мощные группы диссидентского движения. Это был ее наивысший взлет, акме. Из идеологической и культурной обслуги власти московская интеллигенция превратилась в самостоятельную силу – настолько самостоятельную, чтобы покончить с СССР, похоронить тот порядок вещей, который ее в нынешнем виде породил. Шестидесятники придумали перестройку, они же ее довели до конца, когда перестраивать было уже нечего.

С вершины есть только одна дорожка – вниз. Этот путь начался в 1991 году, когда именно московская интеллигенция по большей части остановила путч и поддержала Ельцина. Сложно сказать, чего здесь было больше: усталости от двусмысленного положения в предыдущие десятилетия (за прослушивание Высоцкого можно загреметь известно куда, в то время как тот же певец поет по дачам членов ЦК), или надежды на настоящий прорыв в светлое будущее (которое почти однозначно представлялось в виде славного прошлого до 1917 года), или расчета занять еще более приличествующее своим способностям положение в социальной и политической структуре. Ничего этого не произошло: «шоковая терапия», устроенная «молодыми реформаторами» – этими типичными представителями московской интеллигенции, пощады не знала. С 1992 года для обычного представителя московской интеллигенции оставались три способа выжить: (а) эмигрировать, (б) героически перебиваться с хлеба на воду, (в) доказать уже новым хозяевам жизни свою необходимость. Все варианты были популярными – и уезжали, и бедствовали, и пристраивались к новому порядку вещей. Насчет первого и второго все ясно. Третье требует небольшого пояснения.

Доказать свою нужность можно было несколькими путями. Прежде всего сыграть в великого гуманиста, ищущего своего мецената. Во-вторых, сменить профессию, социальный статус, занявшись, к примеру, бизнесом, или уйти в политики – но используя в новой деятельности старый культурный багаж, обширные столичные связи и, что немаловажно, образ интеллигента. Наконец, сконструировать и предложить новым хозяевам жизни сферу применения своих способностей, внушив власти и обществу, что без этой сферы в нынешние времена никак. Так возникли политтехнологи, политэксперты,

политаналитики – все они вербовались в основном из историков, философов, филологов и прочих гуманитариев. В начале 2000-х политтехнологи стали постепенно превращаться в пропагандистов; сегодня этот процесс завершен. Иногда кажется, что сейчас все вернулось во времена Брежнева – но на самом деле наоборот. В 1970-х московский интеллигент-гуманитарий был нужен власти, чтобы описывать реальность в не враждебных власти словах, описание это служило не только «оправданием» эпохи застоя, оно сделало эту эпоху единственно возможным миром. В 2016 году власти никакого описания реальности не требуется – как не требуется ей и сама реальность. Для производства пропаганды и конструирования сияющего образа мощной державы, которая процветает под присмотром мудрого президента, интеллигенция не нужна – со времен Хрущева она в силу своей двойственной природы не способна на прямую ложь. Оттого ее отодвинули. На интеллигенцию, даже московскую, почти не обращают внимания, а когда обращают, обходятся с ней чуть ли не брезгливо.

Все это совпало со стремительной деградацией всего общества, его институтов, с упадком научных учреждений, а также с общим экономическим ничтожеством постсоветской России. Русский интеллигент, особенно московский интеллигент, стремительно остается не при деле. Ему негде работать; скоро ему станет не на что жить; он стремительно теряет влияние в обществе. Он хихикает в своем Фейсбуке над нелепым языком власти и так называемого «народа», но это чуть ли не последнее его утешение. Невозможно даже вернуться назад, в блаженные 1970-е, и гордо удалиться в башню из слоновой кости, чтобы тихо изучать суахили или историю Древней Финикии. В 1970-х можно было прожить, появляясь в своем НИИ два раза в неделю или даже просто подметая улицу по утрам. Сейчас – нет. Беспощадность новой жизни в России заключена именно в этом безразличии – к знанию, к культуре, к рефлексии, к людям, причастным ко всему вышеперечисленному. Чаадаева сегодня затравили бы интернет-тролли, Грановского бы просто не заметили, а бедного пьяного Блока забили бы до смерти в полицейском участке. Впрочем, это еще неплохой вариант, бывает хуже. Андрей Макаревич, этот герой прогрессивных инженеров за пятьдесят, сегодня поет на юбилее олигарха в компании с блатным певцом Григорием Лепсом. Можно, как автор этих строк, не любить Высоцкого или Окуджаву, но на одной сцене с Кобзоном они замечены никогда не были.

Очарование улетучилось, уют разрушен, московская интеллигенция осталась одна на холодном ветру в ледяной

безразличной пустыне нового мира, который уже даже сложно назвать «постсоветским». Это мир совершенно чужой; в нем, чтобы спастись, нужно выстраивать горизонтальные социальные связи совсем иного типа, нежели прежде, связи, в которых о прошлом интеллигенту напоминает разве что необходимость выказывать солидарность к сотоварищам по сообществу. С этой – и никакой иной – точки возможен отсчет уже совсем иного мира, лучшего, нежели нынешний «русский мир».

Две партии

Майкл Игнатьев в биографии Исайи Берлина[28] описывает второй визит своего героя в Москву. Дело происходит летом 1956-го, Берлин только что женился на Алин Албан (Алин де Гинзбур), и это их свадебное путешествие. До того он провел в СССР несколько месяцев, с сентября 1945 по апрель 1946-го, в качестве сотрудника британского посольства. Именно тогда Берлин имел счастье познакомиться с Борисом Пастернаком, Корнеем Чуковским и – конечно же – Анной Ахматовой, о двух его встречах с которой до сих пор ходят легенды. Собственно, все написанное Исайей Берлином о русской интеллигенции стало результатом его визитов в Переделкино и Фонтанный дом.

Итак, это был уже второй визит (в конце восьмидесятых Берлин совершит третий, последний в его жизни) и при совершенно иных обстоятельствах. Тридцатипятилетний выпускник Оксфорда, известный в узких кругах как автор блестящих отчетов в Форин офис о состоянии умов в Америке времен Второй мировой, – и 11 лет спустя уже знаменитый эссеист, один из самых светлых умов англоязычной историко-политической публицистики, оксфордский дон. Решительно поменялась и ситуация в той стране, которую он посещал и которую так странно любил. Несколько месяцев передышки между окончанием войны и началом новых сталинских преследований, на этот раз нацеленных уже почти исключительно против интеллигенции, причем еврейского происхождения, – и первый год оттепели, возвращение узников ГУЛАГа, доклад Хрущева на XX съезде КПСС. Все те, кто выжил в страшные годы, с кем Берлин так жадно разговаривал сразу после войны, уцелели, однако в 1956-м, в отличие от представителей последующих поколений, особого оптимизма не испытывали. Самый яркий пример тому Пастернак; гонения на него были и при Сталине, однако финальная – и самая мучительная – драма разыгралась уже в самый разгар оттепели. Кстати говоря, Исайя Берлин принял участие в международной судьбе «Доктора Живаго»; точно так же в первой половине 1960-х он хлопотал по поводу почетной оксфордской степени Ахматовой.

Но все это случится позже. Пока же Исайя и Алин гуляют по Москве и посещают устроенный британским посольством прием, на который приглашены и некоторые члены хрущевского политбюро. Игнатьев цитирует письмо Берлина Вайолет Бонэм Картер, где тот сравнивает высших советских аппаратчиков с привратниками оксфордских колледжей, «одновременно

обходительными и брутальными, тонко чувствующими классовые различия и испорченными, отвратительно жовиальными; с бандитской непосредственностью они предаются сентиментальным воспоминаниям». Звучит немного экзотично, если речь о Маленкове, Булганине или Кагановиче; однако, учитывая прошлое этих людей, любой Аль Капоне по сравнению с ними – сущий младенец в своих злодействах. И хотя во многом это описание базируется и на популярных в то время криминальных «фильмах нуар», Берлин прав – этим людям действительно есть что сентиментально вспомнить. Ибо когда-то они много убивали – и сами ежечасно могли быть убиты; ну а сейчас можно немного расслабиться и жовиально выпить водки или коньяка в посольстве вражеской страны. Времена другие – за это не расстреляют. Впрочем, если вспомнить то, что произошло с Булганиным, Кагановичем, Маленковым в течение последующих после 1956-го пары лет, рано, рано они жовиальничали.

Исайя Берлин ни на секунду не верил в искренность советских вождей, устроивших оттепель, – и правильно делал. Он знал им цену – и, самое главное, понимал устройство их мышления. Да, они сильно сбавили скорость вращения устроенной ими же страшной мясорубки, но не из-за какого-то там человеколюбия, нет, просто учуяли, что времена иные и что для поддержания власти можно обойтись и другими методами. В ходу тогда были научно-технический прогресс, риторика вселенского гуманизма и несколько выцветшие лозунги советских двадцатых. Однако внимательного наблюдателя не проведешь – и уж тем более не проведешь тех, кто жил в те самые воспетые оттепельной интеллигенцией двадцатые годы. Первого мужа Ахматовой, Николая Гумилева, расстреляли в самом начале того десятилетия. Сама она была мишенью издевок разного рода «пролетарских критиков». Осип Мандельштам немалую часть того десятилетия стихов не писал. Пастернак, между прочим, тоже – поэтический сборник «Темы и вариации» заканчивается 1922 годом, затем, до тридцатых, – в основном переделка ранних стихов и, конечно, поэмы, эти мучительные попытки договориться с собой, договаривающимся с новой социальной, политической, культурной, психологической реальностью. Именно тогда написано вот это, знаменитое:

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам

Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

И вот это особенно:

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.

Пастернак не кокетничал. При всей своей якобы «надмирности» и вроде бы «непрактичности» он обладал удивительно тонким и сильным социальным чутьем. Его «среда» еще только начинала «сходить» в двадцатых годах, пытаясь еще удержаться за придуманную для нее советскими малопочтенную, но полезную кличку «попутчики», однако уже в следующее десятилетие ее, среду, заломив руки за спину, конвой просто вытолкал со сцены. Уцелевшие, затаившиеся среди кулис, были вычищены после войны, через год после того, как Пастернак в Переделкине беседовал с Берлином. Сам поэт задержался на сцене дольше всех; его, написавшего роман про сомнительную радость собственного социального заката, изгнали под улюлюканье полуграмотной толпы. Лед растаял, музыка вернулась в небесные сферы, остались грязные лужи на советских мостовых.

Да, Исайю Берлина было не провести, несмотря на его – уже совсем другого рода, нежели пастернаковская, – непрактичность. Сравнение членов политбюро с оксфордскими привратниками выглядит действительно экзотично, но только на первый взгляд. Об этой категории служителей сословных английских университетов (Оксфорд плюс Кембридж) писали многие – и изнутри (Ивлин Во), и как бы снаружи (Набоков); никто из наблюдателей никаких симпатий к ним не испытывал. С одной стороны, почтенные служители благородного традиционного порядка мира зеленых лужаек и старых колледжей. С другой – тайные повелители повседневного быта, доносчики, которые могут пожаловаться университетским властям на недостойное поведение студента, продажные слуги. Тема чисто английская,

конечно, начатая П.Г. Вудхаузом в серии романов о Берти Вустере и его слуге Дживсе. Эту тему закрыл зловещий фильм Джозефа Лоузи «Слуга» (сценарий великого Гарольда Пинтера по повести Робина Моэма, племянника известного беллетриста Сомерсета Моэма; в главной роли Дирк Богард). Казалось бы, перед нами вещь, характерная исключительно для сословного английского мира, невозможная уже на континенте, во Франции или в Германии; тем более не имеющая отношения к советской жизни. Но это не совсем так.

Оксфордские портье, а также более многочисленные и типичные слуги в английских аристократических поместьях сильнее своих господ, так как они, во-первых, лучше знают жизнь, во-вторых, отлично чуют слабые места своих господ и, в-третьих, имеют все рычаги влияния на них, или даже не «влияния», а господства. Они согласны на внешнее смирение, они склоняют голову при появлении хозяев, они стараются быть незаметными – но при этом они все время здесь и все время наблюдают за происходящим. Постепенно власть переходит к ним, хотя господа этого не понимают, а если и понимают, так слишком поздно и тоже не подают виду. Но это в Англии, не в других местах.

Если перенести этот сюжет на советскую почву, то классом слуг окажутся совсем другие люди. Революция 1917 года была попыткой реализовать огромную, неслыханную до того утопию. Не окажись во главе революции мощные ораторы, гениальные демагоги, презирающие жизнь параноидальные идеологи, она бы никогда не победила. Но, победив в октябре 1917-го, революции нужно было обустраивать новую жизнь – а для этого понадобились уже совсем другие люди, практические, приземленные, своих мнений не имеющие. Именно они были призваны выполнять черновую работу, прежде всего административную и репрессивную; впрочем, в Советской России, а потом в СССР эти две области были тесно переплетены. Для другого, для промышленного и культурного строительства, для научных открытий, понадобились совсем иные, со старой подготовкой и закалкой – вот отсюда и появилось слово «попутчики». Эта та самая пастернаковская «среда», уцелевшая в Гражданской войне и не уехавшая в эмиграцию. «Попутчики» не разделяли бесчеловечной жестокости новой власти, но млели от ее утопического оптимизма. «Слугам» же было наплевать на все оптимизмы и пессимизмы на свете, а жестокости они не боялись, ибо их среда была, как сегодня выразились бы менеджеры, «конкурентной». Вот они – особенно в этом преуспели чекисты – и принялись конкурировать, то есть истреблять друг друга чуть ли не с самого начала своего существования как социальной группы.

Впрочем, через какое-то время они добрались и до «попутчиков», и до всех остальных. К тому времени настоящие «вожди» либо умерли, либо пали в междоусобице. Остался только один вождь, но уже другого рода, Сталин. Он и создал государство слуг, политическую систему, основанную на глухом ползучем жестоком прагматизме выживания в условиях войны всех против всех. Прошло двадцать лет, умер и Сталин. Руководить страной остались слуги. Забавно, что – несмотря на все перипетии постсоветской истории – они продолжают это делать и сегодня.

Все вышеперечисленное Исайя Берлин даже не понял, а именно почувствовал, так как провел почти всю взрослую жизнь в Оксфорде, одновременно вращаясь в кругах английской аристократии. Он жил в мире господ и слуг, в мире, где – в силу объективных исторических причин – первые становились все слабее, а вторые – все могущественнее и зловещее. Берлин разглядел в условном маленкове видавшего виды лакея, пережившего хозяина и теперь распоряжающегося в хозяйском имении. Но это еще не все. В отличие от вполне безобидных по сравнению с членами сталинских политбюро английских дворецких, условный маленков действительно был настоящим душегубом, на чьих руках действительно была кровь. Оттого он – в описании Берлина – имеет замашки бандита, уже в иные, вегетарианские времена благодушно вспоминающего былое. То, что его самого через пару лет сменили другие, такие же условные маленковы, никакого значения не имело. Для маленковых лично, сосланных руководить электростанцией в Усть-Каменогорске, значение, конечно, было. Но вот как-то сочувствовать жертвам такой перемены участи не получается.

Под конец биографии Исайи Берлина Игнатьев пишет о последних годах своего героя, дожившего до падения презираемой им советской власти: «Он испытывал тихое и глубокое удовлетворение от мысли, что партия Ахматовой и Пастернака <…> в конце концов победила». Сложно представить себе более сильное заблуждение, нежели это. Глядя на сегодняшнюю Россию, на повадки членов нынешнего политбюро, на саму интонацию русской жизни сегодня, понимаешь, увы, очевидное – оксфордские привратники опять победили. Что же до «партии Ахматовой и Пастернака», то, во-первых, ее никогда не было, во-вторых, даже если бы она и существовала, то не имела бы ни малейшего шанса на победу. В конце концов, сказано же, хотя и по другому поводу: «Митьки никого не хотят победить». И верно: жизнь – не череда печальных убийств в «Крестном отце».

Конец

25-летний юбилей поражения августовского путча и *de facto* конца «советского» – как государства, как системы и как идеологии – прошел в Российской Федерации очень скромно, практически незамеченным. В медиа – подборки воспоминаний, старой хроники и фото, в блогах – вялая перебранка, плюс запрет мэрии Москвы на проведение тематического митинга «недовольных». Вот, собственно, и все. Подобного отношения стоило ожидать; только вот причины, по которым юбилей важнейшего события в истории современной России намеренно забыли, несколько иные, нежели те, что первыми приходят на ум.

Прежде всего, факт негласного общественного консенсуса по поводу неуместности шумного празднования сегодня юбилея августа 1991-го. Консенсус вовсе не столь удивителен, как это кажется. Большинство населения, чья жизнь проходит в помещениях, осве(я)щенных телеэкраном, давно уже поверило, что все советское – хорошо, а все, что потом, – плохо. Население даже не смущает очевидная шизофреничность подобного подхода: для него и Владимир Путин – это тоже хорошо. Получается, что в сознании большинства Путин и есть воскрешение исчезнувшего «советского». Отсюда и не очень объяснимые с западной точки зрения результаты соцопросов: значительной части россиян их собственная жизнь не нравится, местные власти – тоже, да и правительство не очень популярно. То есть почти все плохо, кроме «советского» и «Путина». «Советского» больше нет, а Путин есть. Естественно, что на самом деле условный «Путин» к «советскому» отношение если и имеет, то только отрицательное, без краха «советского» Путин не появился бы – но это уже мысль более сложная, и в телевизоре ее, конечно же, не выскажут. Тем не менее кое-какие подозрения по поводу совместимости «Путина» с «советским» в головах присутствует; чтобы полностью не утонуть в непонятных материях, юбилей конца «советского» лучше не заметить, да и вообще подзабыть, что и как стряслось в августе 1991-го.

Власть и правящий класс имеют иные резоны, которые, впрочем, приводят к тому же выводу (они, конечно, сугубо для внутреннего пользования). Дело в глубочайшей пропасти между пропагандистским использованием «советского» как инструмента для создания соответствующей общественно-политической атмосферы в стране и тем простым фактом, что и нынешний режим, и поддерживающая его элита являются порождением трех августовских дней 1991 года. Не рухни тогда «советское» как

властная иерархия, как бюрократическая система, как «номенклатура» (в терминологии Абдурахмана Авторханова), нынешние руководители – неважно, государства или бизнеса – никогда не оказались бы там, где они сейчас. Сложно представить себе иную ситуацию, при которой мелкая сошка из КГБ, таскающая портфель за вальяжным перестроечным либеральным барином, стала бы диктатором гигантской страны. Это сейчас Путин раздает должности своим собственным «таскальщикам» и охранникам, но в позднем СССР такое было невозможно. Понадобился слом всей системы снизу доверху, чтобы мелкий прагматический цинизм полностью заменил – пусть и фантастические – советские бюрократические представления о благе государства, общества, а также о приличиях как таковых. То же самое можно сказать и о многих других людях в нынешней власти, которым при СССР почти ничего подобное не светило.

Если перейти с уровня, так сказать, персонального на институциональный, то мы видим, что ФСБ (и прочие спецслужбы), эта ключевая структура нынешнего режима, его хребет, главный поставщик кадров, смогла занять свое нынешнее место только благодаря августу 1991-го. В СССР, особенно при Хрущеве и Брежневе, КГБ старались держать на поводке, используя его как один из (пусть и очень важных) элементов политического баланса. Прорыв КГБ во власть начался с Андропова, но это был скорее фальстарт. Понадобилась полная деградация советской государственной машины, сменившаяся крайней нестабильностью времен становления постсоветского Российского государства, чтобы бывший КГБ получил возможность осторожно, шаг за шагом прийти к нынешнему своему триумфу. Чуть ли не главные бенефициарии конца советского строя и СССР – именно эти организации, как бы они сегодня ни назывались. Но *noblesse oblige* – прилюдно выражать свое ликование по поводу конца СССР неразумно для тех, кто пытается выглядеть даже более советским, нежели стопроцентные советизаны. Так что здесь прилично молчание. Оно и соблюдается.

По той же причине особой радости не выражают и представители крупного и среднего бизнеса. Понятно, что никакого бизнеса (официального) в СССР не могло быть вообще, так что российские капиталисты вполне могли бы объявить три августовских дня только своим, чуть ли не профессиональным праздником. До перестройки за то, чем они сегодня занимаются, их ждала тюрьма. Сейчас – при удачном стечении обстоятельств – недвижимость в райских уголках мира, спецавтомобили, личные повара, жены-манекенщицы и все такое. Однако приятности

жизни нынешнего постсоветского миллионера омрачаются непрочностью его положения – все вышеперечисленное могут мгновенно отобрать люди из ФСБ и проч., а сам миллионер может оказаться все там же, как и в СССР, – в тюрьме. Положение исключительно двойственное – если не тройственное, ибо большинство российского бизнеса было бы невозможным без участия силовых структур, их опеки, вмешательства и т. д. Получается, что отобрать могут те, благодаря которым есть что отбирать. Эта странная ситуация делает постсоветского богача нервным, осторожным – в частности, в его идеологических публичных жестах. В подобной ситуации лучше забыть о 19–21 августа 1991 года, тогда ведь и Дзержинского с одноименной площади выкинули, а к нему у людей из дома напротив отношение нежное.

От большинства – к меньшинству, от власти и тех, кто ее поддерживает, к оппозиции. Формально именно они должны проявлять самый большой энтузиазм по поводу исхода августовских событий 25-летней давности. Ведь как бы победила «демократия», «свобода», да и «народ» повел себя правильным образом. После 1991-го «народ» либо молчал, либо, будучи мобилизован властной пропагандой, публично защищал совсем не тех, да и голосовал бог знает за кого. Получается, что август 1991 года – последний момент единства народа и прогрессивной интеллигенции, преимущественно столичной. Именно это и следовало бы в первую очередь помнить. Однако с тех пор прошло целых 25 лет; ничего подобного более не наблюдалось; пропасть становилась все глубже и глубже; недоверие переросло чуть ли не в открытую враждебность. Обвинять в этом только Путина и его режим – глупо, ведь тенденция сформировалась еще в 1990-х. Значит, уже тогда в отношениях «прогрессивной интеллигенции» и «народа» было что-то неправильное; выяснять, что же именно, – процесс печальный и болезненный, так что лучше эту тему вовсе не поднимать, развлекая себя же тщательно отфильтрованной ностальгией по девяностым.

Но есть еще одно обстоятельство, мешающее условному «меньшинству» громко праздновать сегодня юбилей августа 1991-го. Дело в том, что если эти события были настоящим началом постсоветской России, то сегодня мы наблюдаем ее конец. То есть не государства «Российская Федерация» (хотя оно медленно, негромко распадается, даже расползается по швам), а самой идеи такого государства и соответствующего ему общества. То есть конец идеи «постсоветского».

Что бы там сегодня ни говорили, крах СССР произошел потому, что его хотели почти все. Лишь кучка партократов КПСС

(а не созданной в 1990-м российской компартии, к примеру) да связанные с советским идеологическим обиходом группы населения (лекторы университетов марксизма-ленинизма, редакторы провинциальных партийных органов и проч.) действительно проиграли от конца советской власти и конца страны. Остальным – включая тех, кто до сего дня не осознал это, – 1991 год был исключительно выгоден. Выше я уже перечислил кое-что из этих выгод, упомяну сейчас еще одну, увы, почти забытую. Даже те группы постсоветского населения, которые принято считать обездоленными и обнищавшими в результате конца СССР, получили в ходе и результате процесса настоящий подарок. Их государственные квартиры превратились в частные, причем совершенно бесплатно. Если взглянуть на то, что происходило в данной сфере в постсоветской Чехии, Польше или в балтийских государствах, то становится очевидной вопиющая неблагодарность, проявленная советским и постсоветским человеком в отношении и героев августа 1991-го, и тех, кто входил в ранние постсоветские правительства РФ. Чтобы понять всю пропасть между тогдашними днями и нынешними, достаточно представить себе, как премьер Медведев в компании Шувалова, Бортникова, Бастрыкина, Яровой, Силуанова и Рогозина *бесплатно раздает что-то действительно имеющее цену* нынешнему российскому населению. Смешно, не правда ли?

СССР рухнул потому же, почему рухнула в феврале 1917 года Российская империя, – он почти никому не был нужен, даже самому себе. В стране не просто все прогнило – она потеряла смысл существования, ибо население ее увлеклось совсем другими представлениями о своей нынешней и – особенно – будущей жизни. Именно эти представления сформировали феномен, известный сегодня как «постсоветское сознание». А постсоветское сознание сформировало постсоветские общество и государство.

Это сознание исходило из нескольких нехитрых, но убедительных представлений. Каждое из них можно сформулировать либо лозунгом, либо названием фильма или книги. Первое, очень тогда распространенное представление: так жить нельзя. Второе: советская власть, СССР, была странным неправильным изгибом на магистральной дороге российской истории, отсюда и представление о социальной, политической, бытовой и культурной норме, сконцентрированное в названии говорухинского фильма о 1913-м: «Россия, которую мы потеряли». Третье представление – тоже о норме. Если исторической нормой оказалась Российская империя, то современной нормой – Запад.

Исходя из этих трех пунктов люди и думали. И потом –

действовали. Они покончили с жизнью, которую уже было невозможно вести, и стали строить – в силу своего разумения, конечно, – «нормальную жизнь», которая должна была совместить культурные высоты дореволюционной России с материальными прелестями нынешнего Запада. Такова социально-психологическая основа «постсоветского общественного сознания»; за исключением упрямых коммунистов старого образца и некоторых других, это сознание разделяло все российское общество – вне зависимости от идеологических расхождений. Можно было спорить по поводу экономической политики или того, нужна ли России демократия, но дискуссии велись на разделяемой большинством платформе, внутри рамочек, с которыми негласно почти все согласились. Даже призывы сумасшедших восстановить Советский Союз имели (и имеют) совсем другой смысл – речь на самом деле идет о том, чтобы распространить постсоветскую Россию на территорию бывшего СССР, а не «восстанавливать» последний. Собственно, что и воплотилось в трагикомичной истории оккупации Крыма, итоги которой немало разочаровывают местное население. Оно-то думало, что вернутся лопухастые советские отпускники, которыми можно будет кормиться, как в блаженные времена телепремьеры фильма «Ирония судьбы». Но оказалось, что в Крыму будут теперь распоряжаться совсем другие люди, с которыми шутки плохи. Постсоветские люди уже давно распоряжаются на территории РФ – и отлично знают, как поступать с недовольными.

В августе 1991 года победил именно постсоветский проект и именно постсоветский образ будущего. Этот проект сразу же принялись реализовывать – и будущее действительно наступило. То, что мы сегодня видим в России, и есть наступившее будущее 1991 года. Все произошло исключительно удачно. Но только вот праздновать начало столь блестяще завершившегося начинания никто не хочет.

Здесь перейдем к финальным двум причинам этого – быть может, даже более важным, нежели вышеназванные. Прежде всего, реализация постсоветского проекта принесла для населения бывшего СССР то, что оно не испытывало со времени смерти Сталина. В 1953–1986 годах на территории СССР не велось военных действий. Советский человек четко знал, что война, она где-то там, в Венгрии, во Вьетнаме, в Афганистане, но не здесь. Мы выиграли Великую Отечественную для того, чтобы победить «войну» как таковую, по крайней мере «у нас». За последние тридцать лет «война» – в прямом своем виде, с пушками, танками и бомбежками, а также в современном прикиде

террориста – пришла на территорию бывшего СССР и основательно здесь обосновалась. Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Армения, Азербайджан, Украина, Молдова – это за пределами РФ. В самой России – Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Москва, Краснодарский край, Ростовская область и т. д. Выяснилось, что постсоветский человек гораздо более склонен убивать своих соотечественников (и уж тем более бывших соотечественников), нежели человек позднесоветский. С убийства, с войны было снято негласное табу, установленное совместными усилиями официальной пропаганды времен Хрущева и Брежнева и советской культуры, официальной и неофициальной. Все стороны той негласной договоренности сходились в том, что война – это зло. Идеолог Суслов и академик Сахаров, Иосиф Кобзон и Борис Гребенщиков – они могли, нисколько не кривя душой, назвать себя «гуманистами», хотя и вкладывали в это слово разный смысл. В постсоветской России на место такого гуманизма без берегов и без правил пришел озлобленный цинический прагматизм, для которого человеческая жизнь вообще никакой цены не имеет, важны только те, которых можно описать как «наши». В этом смысле проект постсоветской России оказался катастрофическим.

Не особенно радует и практический итог постсоветского проекта – если нынешнюю РФ рассматривать как его прямой, добровольный и окончательный результат. Страна, бедам и радостям которой в 1991 году сочувствовали во всем мире, превратилась в источник нелепых угроз и нестабильности. Эта страна нападает на соседей, сбивает гражданские самолеты и убивает детей в Сирии. Более того, она превратила наглую ложь в главное свое внешнеполитическое орудие – вместе с самолетами и танками, конечно. Эта страна бесконечно хвастается своими былыми победами (на самом деле не своими, ибо она прямого отношения ни к дореволюционной России, ни к СССР не имеет), будучи не в состоянии совершить хотя бы одну настоящую победу сегодня – ни создать сильную экономику, ни обуздать воровство, ни остановить утечку мозгов, ни даже победить на широко разрекламированных Олимпийских играх без помощи скверно исполненных жульнических трюков. Это страна, в которой живет ксенофобское население, ненавидящее тех самых «американцев» и «европейцев», чьими достижениями оно с таким удовольствием пользуется, не умея создать что-либо подобное. Здесь, как и раньше, неприятно, неудобно и опасно жить, только когда-то все эти вещи искупались наличием в России (СССР) великих писателей, художников, музыкантов, кинорежиссеров и отважных диссидентов, а сейчас ничего подобного нет и непонятно, почему

все это следует терпеть.

Конечно, взгляд со стороны и не совсем объективный. Но он есть – и с его существованием и распространением ничего не поделаешь. Что касается взгляда изнутри, то – если говорить серьезно – в России сегодня вряд ли найдется хотя бы одна социальная группа (включая людей власти и людей около власти), которая была бы довольна результатом последних 25 лет. Недовольство, беспокойство, страх будущего – все это может искусно скрываться, однако проявляется в самых неожиданных ситуациях, вроде нынешнего юбилея августа 1991-го. Прямых способов выразить свое истинное отношение к нынешней России и собственной жизни у населения почти не осталось – в стране нет политики, почти нет медиа, а за посты в сетях начали сажать. Значит, страх и недовольство оставляются при себе – чтобы когда-нибудь явиться окружающим в самом диком, истерическом, перекрученном виде, как и любой запрятанный внутрь сентимент. Пока же самое распространенное общественное настроение – апатия, прерываемая вспышками раздражительности и ненависти, в основном, слава богу, вербальной.

Наконец, последнее соображение. Постсоветский проект в истории России завершен – точно так же, как к 1991 году завершился советский проект. Конечно, никогда ничего не повторяется; ждать миллионных толп на улицах и площадях, свергающих антинародный режим, глупо и опасно. Если и сравнивать две ситуации, которые разделяет 25 лет, то только типологически. И здесь действительно можно найти кое-что общее, как и между февралем 1917-го и августом 1991-го. Исчерпанность постсоветского периода, несмотря на его продолжающиеся практические проявления, прежде всего в голове, в психике, в сознании людей. Ну а кафедра/подиум/экран, с которых кто-то предложит убедительный образ «нормального», а не утопического будущего, пусты. Судя по всему, те, кто мог бы это сделать, нужных слов не придумали и подходящих картинок не подобрали.

notes

Примечания

1

«14 мая Павел Астахов в беседе с “Русской службой новостей” заявил, что ранние браки разрешены российским законодательством, и в разных регионах установлены разные нижние пределы для их заключения. В том числе Астахов заявил, что “на Кавказе раньше происходит эмансипация и половое созревание” и существуют места, “где женщины уже в 27 лет сморщенные”»: https://meduza.io/news/2015/05/15/pavel-astahov-izvinilsya-za-slova-o-smorschennyh-zhenschinah.

2

Оттого и сегодняшние опереточные сталинисты разговаривают гладкими словами из мягкосталинофильской продукции 1970-х, а не корявым идеологическим языком позднего сталинизма. Палаческие же лозунги из времен Большого террора неосознанно берутся как цитаты из позднейшего пересказа историй о полезности сталинских времен. Да и сам образ Сталина в нынешнем российском сознании – из официозной кинопродукции семидесятых: уютный кавказский дядюшка с трубкой.

3

Калинин И. Культурная политика как инструмент демодернизации // Неприкосновенный запас. 2014. № 6 (98). С. 85–94.

Мединский В. Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую армию // Известия. 2015. 17 июня.

5

Силаев П. «Холмс с его беспощадным логическим умом был бы сегодня веганом». Интервью с Кириллом Кобриным // Афиша Daily. 2015. 27 ноября: https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/books/holms-s-ego-besposhchadnym-logicheskim-umom-byl-by-segodnya-veganom/.

Мединский В. Есть ли у правды версии? // Российская газета. 2016. 18 февраля.

Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы: Документальное исследование: В 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Шапорина Л.В. Дневник: В 2 т. / Вступ. статья В.Н. Сажина. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

10

Островская С.К. Дневник / Вступ. статья Т.С. Поздняковой; послесл. П.Ю. Барсковой; подгот. текста и коммент. П.Ю. Барсковой и Т.С. Поздняковой. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПб, 2002; *Гинзбург Л.Я.* Проходящие характеры: Проза военных лет. Записки блокадного человека. М.: Новое издательство, 2011.

Standing G. Precariat: The New Dangerous Class. L.: Bloomsbury, 2014.

13

Увы, все чаще дающего сбои – см. *Brexit*.

14

«Начать с начала». Советский век: суд профессионала. Юрий Бессмертный в гефтеровской серии «Связь времен», год 1991-й. Интервью Ю.Л. Бессмертного Н.Н. Копосову (20 сентября 1991 года) // Гефтер. 2016. 25 марта (http://gefter.ru/archive/17947).

15

Сорокина Л. Как завершилась Крымская война // Газета. RU. 2016. 30 марта (https://www.gazeta.ru/science/2016/03/30_a_8148377.shtml).

Taplin Ph. The writers Russians don't read – and you should // Guardian. 2016. 7 April (https://www.theguardian.com/books/booksblog/2016/apr/07/the-writers-russians-dont-read-and-you-should).

Berlin I. The Sense of Reality. Studies in Ideas and their History. L.: Chatto & Windus, 1996.

Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2001; *Он же.* История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

Бастрыкин А. Пора поставить действенный заслон информационной войне // Коммерсант. 2016. 18 апреля (http://kommersant.ru/doc/2961578).

20

Александр Бастрыкин в 1980–1982 годах был секретарем комитета ВЛКСМ ЛГУ.

21

Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Пер. с фр. Д.Я. Калугина. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2006.

https://www.newsru.com/russia/03mar2011/pravo_print.html.

http://www.rosbalt.ru/piter/2011/03/03/824976.html.

Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России М.: Новое литературное обозрение, 2013.

https://meduza.io/shapito/2016/05/24/deneg-net-no-vy-derzhites.

26

Кудрин предложил Путину снизить геополитическую напряженность. Не Россия начала конфликт и не будет торговать суверенитетом, ответил Путин // Ведомости. 2016. 30 мая (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/30/642871-kudrin-putinu).

Williamson E. Borges. A Life. NY.: Viking, 2004.

Ignatieff M. Isaiah Berlin. A Life. L.: Chatto & Windus, 1998.